# КРИТИКА.

# ПОЭЗИЯ КАК АНАХРОНИЗМ.

ФРАГМЕНТЫ.

Prudens interrogatio est
quasi dimidium scientiae.

Fr. Bacon.

...Быть может, не в поэзии дело? Быть может то „современное искусство", о котором мы здесь толковать будем,—только симптом, только показатель чего то другого, более важного и значительного? Может быть не о том, что поэзия—анахронизм, а о том, что вся „современная культура"—рудиментарна, надо было бы теперь говорить? Ибо, недаром, первая проблема современной культуры, это—проблема существования самой этой культуры.

Кажется, в самом деле, что теперь, в сегодняшней предсоциалистической Европе, есть только цивилизация и нет вовсе культуры. Теперь „повсюду дирижабли летят, пропеллером ворча", теперь чуть ли не у каждого американского фермера—радио-телеграф, теперь концерты передаются из города в город по беспроволочному телефону, теперь мы стоим прямо-таки перед решением проблемы „вечной юности", благодаря изысканиям и экспериментам Штейнаха, короче,—бесконечно развивающаяся и геометрически прогрессирующая техника, но вместе с тем, и в противоречии с тем, теперь—абсолютный застой, если не регресс в области духовной культуры. С какой стороны ни подойдешь к миропониманию и миросозерцанию западно-европейской интеллигенции сегодняшнего дня,—со стороны-ли логической, этической или эстетической—отовсюду с неизбежной, чуть ли не физической настойчивостью—неумолимо проглядывает внутреннее психологическое банкротство, зияющая душевная пустота, которая, как мы увидим, нашла свое блистательное выражение в дадаизме—этом последнем художественном течении Запада. И к кому бы из корифеев современной мысли мы ни обратились, будь это наши старые литературные знакомцы, как скептический Анатоль Франс, восторженный Роллан, остроумные Уэлльс и Шоу, будь это послевоенные философские знаменитости, Альберт Эйнштейн или Освальд Шпенглер,—все они в один голос одно и то же свидетельствуют: пусто в душе современного интеллигента после этой страшной мировой войны.

Когда-то у Достоевского Родион Раскольников после убийства старушки-процентщицы почувствовал, что он—„словно ножницами отрезал себя от своей прошлой жизни". Так и современная интеллигенция ныне чувствует, что „окаянной" войной отрезала себя она

от всего своего прошлого. Старой культуры уже нет. И она теперь психологически невозможна.

Когда нибудь грядущий историк отметит войну 14—18-х годов XX-го века, как решительную грань двух больших культурных эпох. Такой гранью гораздо меньшего значения была для России война 12-го года прошлого столетия. „Это было до француза", „это было после француза"—употребляли тогда в разговорной речи. „Это было до войны", „это было после войны"—говорим мы сейчас в Европе, и сами не понимаем, какое громадное содержание можно вложить в эти слова. Мы пока только инстинктивно, полусознательно чувствуем, насколько война изменила и еще изменит духовную атмосферу Европы. Война с самой жестокой наглядностью обнаружила неоспоримое противоречие между прогрессирующей техникой и регрессирующей культурой, оказалась точным и нелицеприятным зеркалом, где отразилась внешняя шаткость и безнадежная внутренняя несостоятельность так называемой европейской „интеллигентской" культуры. И после войны, современный интеллигент не может не испытывать чувства тяжелого похмелья, которое знает каждый после пьяной, развратной и безобразной попойки, когда стыдно посмотреть другому в глаза, когда стыдно посмотреть себе в глаза.

Стыдно посмотреть себе в глаза, например, Гергарту Гауптману Он когда-то назывался „поэтом любви ко всему человечеству", но чуть только грянул первый выстрел под Эйдкуненом, начинает писать свои человеконенавистнические манифесты, где призывает косить людей, как траву. Стыдно и поэту Рихарду Демелю, „другу всего человечества", не знавшему, по его словам, кому из народов он обязан своим и дарованием, который, затем, в своих знаменитых „Schlachtenlieder" воспевает одно: „Смерть и только смерть „своим врагам". Стыдно почтенному философу Иосифу Петцольду, во время войны он об одном только мечтает:—„быть во всех пулях, вонзающихся в сердце каждого русского и француза". Стыдно и нашим—Андреевам, Сологубам. Они занимались когда-то в своем творчестве только самыми возвышенными трагедиями души человеческой. И так, позорно провалились на первом же акте реальной, не мифической трагедии нашей современности. Они когда-то решали самые „последние" и самые „проклятые" вопросы бытия. И так постыдно срезались на первом же экзамене, который им устроила история. Они считали себя вне времени и вне пространства. И стали так жалко, так детски-беспомощно цепляться за обломки старого, за тихий уют и сонный комфорт вчерашнего дня, чуть только начали реально предвидеть не литературную гибель этих старых устоев, чуть только физически услышали гул приближающегося исторического землетрясения.

А ведь все они эту гибель буржуазного мира предчувствовали. И только об этой гибели говорили.

„Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть,
Есть проклятье заветов священных
Поругание счастия есть".—

—говорил наш последний романтик Александр Блок о своей музе, о музе наших дней.

Все наши последние поэты чуяли эту катастрофу, начиная от Соловьева с его эсхатологическими чаяниями, Мережковского и Белого, с их постоянным refrain'ом: „Петербургу быть пусту", кончая таким хладнокровным и органически чуждым всякому мистическому вос-

приятию поэтом, как Валерий Брюсов, который тоже чутко и тревожно прислушивался:

„Где вы, грядущие гунны,
Что тучей нависли над миром?
Слышу ваш топот чугунный
По еще неоткрытым Памирам".

Чем же занималась наша интеллигенция, муза которой так настойчиво предсказывала пришествие гуннов? Пусть нам скажет об этом наиболее яркий представитель литературного fin de siécl'a гениальный лирик, Поль Верлен:

„Я, одряхлевший Рим, на рубеже падения,
Гляжу, как варваров стремится рать вперед,
А сам безпечные пишу стихотворенья,
Где в строчке золотой истома солнца жжет".

Вот чем... Безпечные писала стихотворения...

Необозримым стихотворным наводнением, неудержимым потопом филигранных стихов, самых изысканных и самых утонченных, характеризуется последняя эпоха предсоциалистического периода в жизни человечества. Настала эпоха какого-то литературного дендизма, какого то литературного франтовства par excellence, когда даже новеллы, даже романы, своей ювелирной отделкой выравнялись по стихам. Даже не „искусство для искусства" стало господствовать в литературе. Это было бы слишком хорошо. Стало господствовать искусство для формы и только для формы. Внешняя форма произведения стала для поэта всем, стала той священной целью, которая оправдывает все средства, оправдывает даже всю жизнь поэта.

„... Sous les Gémanx
Ou l'Amphore faire en son livre
Rimer entre eux des nobles mots.
C'est la seul donceur de vivre".

—писал изысканный Катюлль Мендес, и наш Брюсов повторял за ним вслед:

„Быть может все в жизни лишь средство
Для ярко певучих стихов?
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов"...

А—заратустра французских декадентов—Стефан Малларме, загадочно улыбаясь, спрашивал:

Посмотрите, может быть в самом деле мир создан только для того, чтобы привести, в конце концов, к хорошей книге стихов?

Вот, о литературе хрупких стихов, хрупких новелл и романов где царствуют только оттенки („pas la couler, rien que la nuance"), об этой поэзии, где с другой стороны, стала постепенно водворяться искусственность вместо искусства, стилизация вместо стиля, виртуозность вместо мастерства, эстетизм вместо эстетики, красивость вместо красоты, об этой формальничающей поэзии, которую я буду называть общим, широким, ни к чему не обязывающим термином декадентства, которая так знаменательна, так показательна для современного культурного междуцарствия, надо вынести суждение. И не станет-ли оно осуждением?

## I.

...без стиха человек был ничто. Со стихом он стал—почти богом.

**Fr. Nietzsche.**
(Fröhliche Wissenschaft)

Что делать нам с бессмертными стихами?
Ни с'есть, ни выпить, ни поцеловать..

**Н. Гумилев.**
(Огненный столп)

... „Хотел бы сделать стих изящной безделушкой"—писал в одном стихотворении французский декадент Роберт Монтескью и эта строчка лучше всего выражает кардинальное устремление и первый догмат той декадентской литературы, которая ныне нашла свое окончательное завершение в западно-европейском дадаизме, в русском имажинизме и, даже, будетлянстве.

Стихотворение должно быть безделушкой. Искусство должно быть бесцельным,—такова первая формула декадентского катехизиса. Казалось бы, вполне почтенная, слишком старая и неоспоримая истина. Ведь еще от Канта мы знаем, как аксиому: всякий художественный акт по природе своей бесцелен. Но в том то и беда, что у декадентов художественное творчество фактически оказывается вовсе не бесцельным. Ибо, сама того не замечая, современная поэзия своей формулой: „искусство должно быть бесцельным"—поставила определенную цель искусству, и эта цель—бесцельность. И, может быть, кое кому покажется это парадоксальным, но первый упрек, который мы сейчас бросим современной, декадентской, поэзии, это упрек в тенденциозности. Декадентство, прежде всего самым тенденциозным образом отрицало и отрицает так называемые „тенденциозные" (в данном случае, хотя бы социально-политические) мотивы в литературе.

Поясним нашу мысль примером. Некрасов когда то выпустил свой юношеский сборник „чистой" поэзии: „Мечты и звуки". Впоследствии он его уничтожил. И Некрасова мы знаем, как автора гениальных народнических и политических стихов. Спрашивается, Некрасов был тенденциозен тогда ли, когда писал свои бездарные, неискренние „мечты и звуки" или когда творил свои общественнические песни? Конечно, Некрасов не тогда, когда он пишет „размышления у парадного под'езда", а тогда, когда занимается „мечтами и звуками" тенденциозен. И декадентство, требующее от поэта только мечты и звуки, и тем самым оскопляющее всех возможных гениальных Некрасовых, это декадентство больше всего тенденциозно (в плохом смысле слова).

Мы еще понимаем, если бы Фет писал общественнические вещи, он был бы тенденциозен ибо по конструкции своей психики он предрасположен только к мечтам и звукам только к шопоту и робкому дыханию. Но ведь не всякий человек по своим душевным настроениям „чист" как Фет. Общеизвестно, что человек в среднем, как „животное общественное", как существо нормальное, переживает те или иные социально-психологические, тенденции. И немудрено, если всякое нормальное художественное творчество человека изначально-тенденциозно (в хорошем смысле слова).

---

*) Напоминаем нашу немного необычную терминологию: поэзия—стихи, стиховые новеллы и романы; декаденство—современная и современничающая поэзия.

Или другой пример. Возьмем роман Чернышевского: „Что делать“. Это—общеизвестно и общепризнано—роман тенденциозный, а потому и не художественный. И вот для нас, с точки зрения истинно эстетической этот роман стоит и должен стоять на одной плоскости с любым, самым что на ни есть „чистым“ (в смысле отсутствия идейной и этической предвзятости, в смысле своей пан-эстетичности) произведением. Будь ли это „Крылья“ Кузмина, „Огненный ангел“ Брюсова, романы Реми-де-Гурмона. Оба они, например, и „Что делать“ Чернышевского и „Крылья“ Кузмина равно не художественны. Один—потому что *явно* преследует публицистическую цель. Другой—потому что столь же *явно* преследует цель художественную. Да, художественную. Произведение художественное и произведение, преследующее художественные цели, это далеко не одно и то же.

Даже более того. Произведение, открыто преследующее художественную цель, уже тем самым не может быть художественным. Эстетическая тенденциозность столь же эстетически невыносима, как и этическая, как и логическая, как и обрядово-догматическая предвзятость в поэтическом произведении. И как в Этике даже самыми крайними утилитаристами, (в частности, Д. С. Миллем) установлено, что стремиться к счастию, как к таковому, прежде всего невыгодно с точки зрения эвдемонистической, с точки зрения самого этого стремления к счастью, так и в Эстетике нам надо раз навсегда установить, что стремление к красоте, как к таковой—а это в первую голову постулировало и постулирует декаденство—это стремление прежде всего неприемлемо с точки зрения эстетической.

Таким образом декадентская литература, одна из больших заслуг которой была борьба против всеоб'емлющей и вездесущей писаревщины, против извращенного понимания искусства, эта декадентская литература сама постепенно превращается в писаревщину наизнанку, сама становится фактическим отрицанием искусства. Если у бесконечных, тайных и явных писаревцев смысл художественного произведения определяется публицистической идейкой, которая в нем проводится, то у декадентов смысл поэтического творения определяется той внешней отделкой, исключительно теми техническими украшениями, которые его сопровождают. Как раньше у писаревцев вся задача произведения была только в том, чтобы провести ту или иную общественно-полезную мысль, так и теперь, у эпигонов декаденства (как бы они ни назывались), вся задача художественной вещи в том, чтобы создать или оригинальные рифмы с consonne d'appui, или новый ритмический нюанс, или неожиданный, незатасканный, трехэтажный образ, или в лучшем случае сложный и тонкий сюжетный узор. Словом, какой нибудь технический фокус высшего или нисшего порядка. Так постепенно и незаметно для литературных производителей и потребителей, творчество в декадентстве заменяется—виртуозной техникой, красота—формальной красивостью.

Отсюда вовсе не следует, что мы отрицаем формальный метод в поэзии, что мы боремся против культа формы. Нет, именно тот нелепый дуализм, то бессмысленное противопоставление формы—содержанию, как скорлупы ядру, ставшее враждебным у многих наших поэтов и поэтиков, у большинства наших критиков, это противопоставление больше всего для нас неприемлемо. Форма и содержание, конечно, не две части одной художественной вещи; это скорее два способа рассматривать, два подхода, два отношения к одному и тому же произведению. Всякое творение надо всегда целиком, и только целиком, рассматривать

и с точки зрения формы и с точки зрения содержания. И не против культа формы мы боремся, а против узкого подхода к форме, против однобокого ограничения этого понятия. В данном случае вполне правилен тот путь, на котором стоит молодая петроградская художественно-критическая школа „Опояз“ во главе с Виктором Шкловским, рассматривающая в произведении все с точки зрения формы: и фабулу, и сюжет, и идею, и мораль, и даже эпиграфы и цитаты. И на ложной дороге стоит декаденство, которое игнорирует так называемое „содержание“, как определенную часть формы, для которого вся форма сводится только к внешней отделке, произведения, не к красоте, а к красивости, как бы эта красивость ни называлась.

„Хотел бы сделать стих изящной безделушкой“—говорит декадентский поэт. Если первая цель, которую ставит себе современная поэзия—это внутренняя бесцельность („быть безделушкой“), то вторая цель декадентства—это внешняя крисивость, т.-е. изящество. Но характерно, что и это узкое понимание „формы“ как внешней отделки, как красивости, как изящества, дифференцируется постепенно и распадается все больше и больше у различных представителей литературного упадочничества. И если для „парнассцев“ только то стихотворение формально хорошо, где вне зависимости от содержания имеются строгие эпитеты, богатые рифмы с consonne d'appui и классически выдержанные строфы, то для декадентов в узком смысле слова вся красота произведения сводится только к его музыкальности и аллитеративности, для акмеистов только к его зрительной или осязательной действенности, а для имажинистов только к роскошной восточной его метафоричности. Так художественное произведение у современных упадочников начинает терять характер того сложного, многостороннего организма, каким оно должно быть по своей природе. И знаменательно, что благодаря этому декадентство мнившее возвеличить искусство, освободив его от роли служанки действительности, от пут общественности, фактически само низвело его до еще более печальной роли совершенно бездейственной побрякушки. Декадентское стихотворение, поистине, стало тем „сладким лимонадом“, о котором говорил Державин, той „сигарой в залах“, о которой то иронически пел по поводу новелл Мопассана декадентский сатирик Тайад, той игрушкой хриплой и пустой, которой когда-то боялся Поль Верлен.

Наконец, декадентство, мечтающее об абсолютном изгнании так наз. „содержания“ из стихотворения, конкретно сделало содержанием своих произведений их техническую отделку. И от случайного стихотворения полудекадента Валерия Брюсова:

„Мой милый маг, моя Мария
Мечтам мерцающий маяк.
Мятежны марева морские
Мой милый маг, моя Мария
и т. д.,

где все его содержание сводится только к форме триолета, каждое слово которого начинается на „м“, мы постепенно приходим к более утонченному, изысканному и гораздо более безсмысленному стихотворению Хлебникова:

„Панна пены, панна пены,
Что вы, тополь или сон?
Или только бьется в стены
Родовое слово: он
и т. д.,

где содержание сводится к глубоко микроскопической, инфра-филологической работе,—переходим к стихотворениям Асеева и Чурилина,

содержание их в оригинальном, музыкальном слове и слого-творчестве, и, наконец, доходим до дадаизма, каждое стихотворение которого является по заданию одним уравнением с двумя неизвестными, которое как будто отрицает всякое содержание („Dada ne signifie rien“) и всякое творчество („Dilletanten, erhebt euch gegen die Kunst!“), но содержание которого представляет собою технически-умело сделанную и мастерски преподнесенную—бессодержательность.

Мы только, что упоминали имена футуристов: Хлебникова, Асеева, Чурилина. Отсюда может возникнуть мысль, что мы рассматриваем футуризм, как продолжение декадентства, как одно из звеньев упадочнической поэзии. Конечно, нет. Футуризм явился прежде всего резким бунтом против той бездейственной, хрупкой, тепличной поэзии, которую создало декадентство. Он прежде всего борется против этого примата бездейственности и красивости над творчеством и жизнью. Фактически, нервные выкрики Маяковского и Маринетти и холодные, как железо-бетон, пачки ордеров Гастева—гораздо современнее многого в нашей современничающей декадентской литературе. Но футуризм все же не сумел овладеть тепличной поэзией. Конкретно, он только заступился за права жизни и действительности („гвоздь у меня в сапоге кошмарней фантазии Гете“). Но он не смог сделаться явлением поэзии. Не знаю, выше ли он или ниже поэзии, но во всяком случае он вне поэзии. Он оказался только культурно-жизненным явлением. Просто современная жизнь хотела ворваться и овладеть рахитичной поэзией, и литературным полем этого безрезультатного единоборства оказался футуризм. Поэзия, потерявшая руль и ветрила действительности, пришла в какой то безисходный тупик, и этот тупик—футуризм.

И новая, неожиданная мысль закрадывается здесь у нас при изучении футуризма. Может быть, в этом бессилии поэзии воплотить жизнь и овладеть ею, декадентство вовсе не виновно? Может быть, действительно, стихотворение уже по самой своей форме и природе не может овладеть бурной современностью? Может быть, стих просто изжил себя, и его удел—быть изящной безделушкой и только?

Вспомним, как один действительно большой поэт клокочущего сегодня, Уот Уитмен, попытался надеть на себя стихотворные одежды. Чуть только он в них растянулся во весь рост, как они тотчас порвались по швам и лопнули, как лопается детская рубашонка надетая на взрослого. Вспомним, как Маяковский, создавший революцию и в поэтике, и в синтаксисе, и в словаре—только для того, чтобы выразить и воплотить революционную современность, как он останавливается в бессилии перед этой невыполнимой задачей.

„Этого
Стихами сказать нельзя
Выхоленным ли языком поэта
Горящие жаровни лизать“.

Вспомним, как Достоевскому тесно даже в романе. Он и в нем метался, словно буйный сумасшедший в четырех стенах камеры. А мы то желаем всю бушующую современную действительность уместить в хрупком стихотворении или новелле. Нет, стихотворная форма уже физиологически изжита—уже рудиментарна.

Современные поэты, по крайней мере, наиболее искренние из них, чувствуют это.

Чувствует Маяковский: „С небритой щеки площадей, стекая ненужной слезой, я—быть может последний поэт“.

Чувствует это смиренная монахиня нашей поэзии, Анна Ахматова:

„Теперь никто не станет слушать песен
Предсказанные наступили дни,
Моя—последняя.—Мир больше не чудесен,
Не разрывай мне сердца, не звини.

Чувствуют и поэты-паяцы Шершеневичи:

„Мы последние в нашей касте,
И жить нам не долгий срок...

Но и подходя с внутренней, интимной, а не общественной стороны к этому вопросу, каждый по настоящему искренний поэт чувствовал и чувствует несостоятельность стиховой формы, ее жуткое несоответствие его индивидуальным творческим заданиям. Правда, не в моменты творческого процесса чувствует он это. Нет. После. Тогда—когда он становится—читателем самого себя.

„Молчите проклятые книги, я вас не писал никогда...“ испуганно кричал Блок, перелистывая благоухающие страницы своих тоненьких томов. „Моих истинных стихов никогда не прочтут“—в ужасе рвал на себе волосы Сюлли—Прюдом („A mon lecteur“). А Андрей Белый, оглядываясь на свой литературный путь в „Записках Чудака“ внезапно „обрывает себя самого, как писателя:“

„Стой ка ты: набаловался ты устраивая фокусы с фразой.
„Где твоя священная точка?
„Нет ее: перламутровой инструкцией фразы закрыл ты лучи
блещущие из нее тебе в душу“
„—Так разорви свою фразу: пиши как... сапожник“

Вот до чего дошло. Лучше уже писать, как сапожник, говорит Белый, лучше уже вовсе не писать, чем низводить Творчество—самое ценное, что есть у человека,—до стилистических ухищрений, до безделушки, до технической виртуозности, до современных стиховых форм.

Это—не муки слова, не муки творчества, о чем говорили и рассуждали многие, о чем говорил у нас недавно А. Горнфельд. Нет, процесс-то творчества, сам по себе никак уже не мучителен. Моменты творчества это всегда радостные моменты для каждого человека. Как хорошо и как легко когда—„мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, перо к бумаге“, как легко когда „душа стесняется лирическим волненьем“ и „какой то демон овладевает нашими играми и досугом“—об этом вам расскажет любой поэт. И если Некрасов и Блок называют прикосновение музы (т. е. творчества)—„страшными ласками“—то все же это—*ласки*, пусть и страшные.

Не в муках слова—дело. Флобер нам пояснит (а здесь то он компетентен), что сильному чувству и сильному ощущению всегда находится (и должно найтись) соответствующее слово, что глупо воображать, будто можно бессловесно быть поэтом. Если же и говорят о муках слова, то, во всяком случае, не о муках творчества речь идет. Скорее,—о муках технической отделки произведения. Скорее,—о муках писателя, перечитывающего и переделывающего свою вещь.

Не о муках творчества надо говорить. А о—*муках сотворившего*. О муках „горы родившей мышь“. О муках творца, невольно разменявшего на пятаки—да еще, может быть, фальшивые—свой творческий

порыв. О муках писателя, не нашедшего и не могущего найти желанного читателя ибо устарели, отсырели, стали негодными провода соединяющие их между собой. Слишком несоизмеримо то лучшее, что есть в поэте,—его созидательный пафос, его духовная энергия—с тем резервуаром, в котором это сохраняется, с теми формами, в которые это отливается. А потому мал и незначителен результат. Я бы назвал стиховые формы—рычагом наизнанку, уменьшающим, а не увеличивающим прилагаемую к нему силу.

Современный поэт может быть и чувствует не литературно, может быть и пишет—как говорили когда-то—кровью своего сердца, но читатель то всегда и непременно воспримет его литературно и только литературно. „Камерадо, это не книга; кто коснется ее,—тот коснется меня!“ писал о своих стихах Уитмен. Современный читатель взяв книгу стихов любого поэта не чувствует что он касается в ней живого человека. Но вините в этом не читателя и не писателя. Вините книгу *стихов*.

Стиховые формы отжили, ибо они—слишком литературны, в Верленовском понимании этого слова.

А ведь, для современного человека, который уже не может быть религиозным, который не может по Верхарновски, „зная он—мечта, все же во мраке ночи, колени преклонив, ему молиться смиренно“,—для современного человека искусство начинает заменять религию, становится единственной формой и формулой миро-отношения, стихотворение для него должно заменять молитву. И не правда ли трудно молиться и плакаться формальными, вылощенными декадентскими стихами?—об этом нам расскажут и многие футуристы, и Маяковский („Мама! *Петь не могу*. У церковки сердца занимается клирос“) и еще кое-кто из новейших поэтов.

Ну хотя бы умный Илья Эренбург:

„Я не могу сказать им: тише,
Ведь вы слышали, как головой об стену бьется человек!
Ах, нет, ведь это только четверостишия
И когда меня представляют дамам, говорят: поэт“

и поэт, в невольном ужасе, спрашивает:

„Зачем пишу? знаю—не надо
Просто бы выть, как собака: Боже“

но вскоре, спохватываясь, снова овладевает собою и своей саркастической улыбкой:

„Так и буду публично плакать, молиться.
О своих молитвах читать рецензии“...

Еще одно, на эту же тему, двустишие вспоминается мне.

Мои стихи не песни, а молитвы,
Но где же бог, внимающий стихам?—

—не то иронически, не то меланхолически спрашивает один современный поэт.

Да, нет бога, внимающего стихам. Есть только читатель, лениво их перелистывающий. И, повторяем, в этом вовсе не виноват поэт. Не виноват в этом и читатель. Виноваты стихи,—которые только стихи и ничем другим быть не могут...

... Я знаю, мое утверждение: поэзия—анахронизм, вызовет глубокое возмущение многих. Ведь в то время, как пишутся эти строки, страна все еще переживает огромную эпидемию стихотворчества. Кто сейчас не пишет стихов? Но даже и это обстоятельство убеждает меня в правильности моих выводов. Теперь больше стихотворцев, чем стихочитателей. Теперь поистине стихотворное перепроизводство. А это говорит нам в пользу того, что кризис близок. Массовые потребители уже отворачиваются от стихов. Массовому потребителю уже нужны иные формы художественного творчества.

Tout passe. Все меняется и все течет. Жизнь движется. Почему-бы нам считать, что только формы искусства незыблемы? Если мы последовательные эволюционисты, мы должны понимать и принимать эволюцию художественных форм, как бы они нам ни нравились.

Когда-то у доисторического человека все художественное творчество сводилось к пляске. Конечно, и сейчас можно очень любить и ценить танец, но вряд ли кто станет считать теперь пляску центром художественного творчества современного человека. Может и в будущем стихотворчеством будут увлекаться и стихи будут ценить. Но, несомненно, центр художественного творчества грядущего человечества переместится куда то подальше и от стихов, и от новелл, и от романов. Куда? Это вопрос слишком сложный и о нем буду говорить особо...

**А. Лейтес.**

# КРИТИКА И ОБОРОНА МАРКСИЗМА.

(Н. Бухарин. Теория исторического материализма. Популярный учебник марксистской социологии. Москва. 1921—1922 *).

Буржуазный исследователь большевизма Гиршберг (наука о большевизме уже стала обширной областью европейского академического знания), говорит что, во первых, большевизм это современная форма марксизма, ставшего мировой исторической силой, во вторых, что основная идейная задача большевизма—последовательное проведение марксизма и, в третьих,—не только проведение, но восстановление истинного марксизма.

Правильно замечено, что большевизм не принимает марксизма ни как абсолютной догмы, ни как учения, принципы которого меняются в зависимости от того, какая буржуазная философия покажется верней и удобней для его обоснования. Суждение об истинности марксизма зависит не от философии или социологии, а от классового революционного миросозерцания пролетариата в развитии его борьбы против капитализма. Маркс был прав, поскольку правильно выражал классовый разум и волю пролетариата. Поэтому, марксизм развивается непрерывной критикой его собственной традиции и критики его врагов.

Традиция парламентаризма, мирного партийного строительства, практическое отрицание диктатуры пролетариата, вынесение социалистической революции за пределы реально обозримого исторического периода в неопределенное будущее, критикуется революционным марксизмом с целью восстановления марксизма истинного, последовательного, принципиального, непримиримого, в классовом смысле беспощадного.

Критика марксизма с его принципиальной стороны, замена диалектики другими методами, постановка на место материализма одной из идеалектических философий, этическое обоснование пролетарской революции, критика теорий Маркса о концентрации, пролетаризации и катастрофе капитализма критикуется нами, чтобы восстановить марксизм, как последовательный материализм в трех главных областях пролетарской мысли и действия,—в понимании природы, общества и собственных исторических задач рабочего класса.

За последние два года критика марксизма с самых разнобразных теоретических точек зрения, но однородных в смысле их буржуазного содержания, невероятно расширилась и является непосред-

*) *От редакции.* Печатая критическую статью о книге т. Бухарина, редакция полагает, что мнение по основным затронутым вопросам нельзя считать окончательно установленным, и потому возможна только дискуссия, тем более плодотворная, что автор рецензии как и т. Бухарин стоит на точке зрения ортодоксального марксизма и, следовательно, спор идет не о принципах диалектического материализма, а методах применения их к об'яснению отдельных вопросов теории и практики коммунизма.

ственным отголоском в буржуазной философии и социологии потрясений революционного периода Европы. Марксизм не страдает от критики. Он растет и развивается критикой критики. Для буржуазных мыслителей совершенно непостижимым фактом кажется умение марксизма соединять свою ортодоксальность, принципиальность, неуклонность „догматического" следования по путям, намеченным Марксом и Энгельсом, с необычайной гибкостью применения марксистского метода к новым областям фактов, расширением кругозора, введением понимания всех очередных периодов классовой борьбы и культуры в рамки единого миросозерцания.

Удивление буржуазных идеологов перед марксизмом, возрождающимся после всякой критики с новой силой, подобно пролетариату с новой энергией бросающее социальные битвы после каждого своего поражения в революциях, превращается в горькую насмешку, когда они встречаются с марксизмом не как с выражением в идеологической форме материальных классовых основ пролетарского движения, а как с продуктом умозрительных теорий отдельных теоретиков, от времени до времени впадающих в грехи ревизионизма или вульгаризации.

И ревизионизм, и вульгаризация проистекают из неспособности охватить марксизм, как материально-классовое явление. Ревизионист рассматривает марксизм, как метод, пытаясь заново построить его, как миросозерцание. Вульганизатор принимает марксизм, как готовое миросозерцание, к которому прибавлять нечего; сменяющийся прием классовой борьбы данного момента продолжает господствовать над умами последующих марксистских поколений, подобно идеологической окаменелости, тормозящей всякое революционное развитие.

Атомистический материализм видоизменяется новыми теориями о строении материи, но это не значит, что надо отменять материализм вообще или об'являть атомистическую гипотезу фактом абсолютной истины. Парламентарные формы классовой борьбы были об'ективно неизбежны в Германии или Франции двадцать пять лет тому назад, но это не значит, что они нам не могут понадобиться вновь, и не значит также, выражаясь словами т. Ленина, что кретинизм парламентского демократизма надо считать законом марксистского понимания политики в такой стране, где парламента не было никогда, а парламентского кретинизма было сколько угодно...

Вследствие всего этого, к новой книге т. Бухарина мы пред'являем требование, чтобы она, во первых была последовательна в изложении марксизма, чтобы, во вторых, восстанавливала его принципы, неумолимо критикуя всех критиков, в третьих, охватывала старым методом новые факты во всем их об'еме, вводя их в состав единого миросозерцания, чтобы, в четвертых, она была свободна от заразы ревизионизма, в пятых, чтобы в ней не было и тени вульгаризации. Все требования тем более существенны, что работе Бухарина заранее обеспечено доверие, широкое распространение и огромное влияние на все круги партии и далеко за пределами ее. Старые члены партии по ней будут узнавать, что такое марксизм сейчас, какие шаги теоретического развития сделал он с тех пор, как перо Плеханова перестало служить революционным задачам пролетариата. Партийная молодежь по ней впервые будет доводить до полноты теоретической ясности свое революционное сознание. Идейные враги сделают марксизм ответственным за т. Бухарина, а его самого—за марксизм. Наконец, в истории марксизма эта работа останется, как первая попытка возобновить нить теории пролетарской борьбы, перерезанную ножни-

цами мировой войны в 1914 году. Наконец, недобросовестные критики об'явят все ошибки т. Бухарина „истинным марксизмом“ и будут на них спекулировать.

Так, велика ответственность партии за эту книгу, и т. Бухарин должен приготовиться мужественно встретить суровую критику и учесть ее, потому, что марксизм рождается не из единоличных усилий отдельных умов, а из коллективной дискуссии о сущности пролетарского действия и миросозерцания.

Сам т. Бухарин осложняет свою ответственность перед партией тем, что ставит задачей отменить и превзойти Плеханова. Это трудно. Плеханов хорошо знал, что научный социализм, в отличие от философии и социологии, не делится на науку высшую, для избранных, и науку популярную, „науку для бедных“. Учение, созданное пролетариатом, не может быть непонятным пролетариату. В марксизме нет никаких тайн, нет специальной терминологии, понятной только посвященным, доступность его или недоступность зависит не от предмета изложения, а от автора этого изложения.

Плеханов в совершенстве владел литературным стилем научного, точного, ясного и увлекательного изложения. Тов. Бухарин этими качествами владеет не вполне. Поэтому он вынужден свои книги делить на „ученые“ и „популярные“. Отсутствие литературного таланта не грех, но становится причиной многих грехов Тов. Бухарина „не поцеловала муза“, как говорили об Аристотеле. Едва ли правильно сделают те товарищи, которые последуют приглашению т. Бухарина—перестать читать Плеханова, потому что его книги „трудны для понимания“, „устарели по форме“, „непонятны для теперешнего читателя“.

Не случится ли так, что именно после чтения т. Бухарина возникнет потребность вернуться к Плеханову и снова погрузиться в золотой поток его речи, еще раз проверить, через его посредничество, собственное понимание работ Маркса и Энгельса, которые, все таки, не стали ни труднее для понимания, ни устарели по форме, не перестали быть понятными современному читателю оттого, что вышла книжка т. Бухарина.

Конечно, и Плеханов и Маркс кажутся трудными, сравнительно с такой манерой т. Бухарина подвергать критике всю буржуазную науку в целом:

„Глуповатым девицам мещанского свойства, вроде тех, о которых поют: „Что танцуешь Катенька? Польку, польку, папенька...“ кажется очень „ужасным, если, скажем, божественный аромат нарцисса об'яснять раздражением такой прозаической вещи, как слизистая оболочка носа. На уровне нашей Катеньки, однако, пребывает большинство наших ученых“. От этой образной полемики марксизм не становится легче для понимания, а литературный стиль т. Бухарина не выигрывает в изяществе. Плеханову тоже случалось сказать что-нибудь очень игривое, вроде иронических замечаний о генерале, изумленном зрелищем медных шпор на ведрах. Но вы помните, товарищ-читатель, как убийственна была эта ирония для тех, в кого метил ее Плеханов?..

Отчасти под углом зрения оценки книги т. Бухарина, как литературного явления, но главным образом по существу ее критического метода, приходится признать, что вся буржуазная наука, оспаривающая марксизм в целом и в частности, подверглась у т. Бухарина критике слишком легкой и поверхностной. Эта полемическая манера едва ли уязвит даже самолюбие буржуазных ученых, не говоря

уже о том, что их теории не будут поколеблены игриво-задорными сравнениями.

Что же, однако, будет с курсантом партийной школы, который поверит на слово т. Бухарину, будто буржуазная наука состоит из „сумасшедших пустяков", „белиберды", „старой ерунды", „абсурдов", что ее носители—„люди, выковыривающие божественную мудрость из своего пупка"? Что будет с этим доверчивым курсантом, если он усвоит великолепное наплевательное отношение к буржуазной науке и будет ею разбит „в первом же бою"?

Приведем пример: т. Бухарин в достаточной мере растянуто доказывает несомненный факт, что закон причинности простирается на волю каждого отдельного человека в обществе, как и на целое общество. Учение о свободе воли прямиком приводит к религии, которая ничего не об'ясняет, где нет знания, а есть слепая вера в чертовщину, в таинственное, в сверх'естественное, в чепуху.

Французский буржуазный материалист Ле-Дантек, отрицает свободу воли, полагает, что человек—механическая марионетка, автоматически приводимая в движение материальными силами и обладающая только бездейственным сознанием, „эпифеноменом" своего вещественного состава. Неокантианцы отрицают свободу воли условно, подходя к этому вопросу совершенно иначе. Об'ективно свободы воли нет, об'ективно „все происходит, как по т. Бухарину", но суб'ективное сознание свободы действий является абсолютно необходимым условием этического действия человека. Без сознания свободы воли невозможна личная ответственность, нельзя ни награждать, ни наказывать, нельзя вести партийную агитацию, нельзя призывать пролетариев к революции, нельзя звать красноармейцев в бой, потому что отрицание суб'ективного сознания свободной воли, причинно обусловленной внешними силами, лишает человека возможности действовать и отвечать за свои действия.

Неправ Ле-Дантек, и тем более неправы неокантианцы, но в чем марксистская постановка вопроса о свободе воли и как опровергнуть теорию „абсолютной метафизической внутренней свободы", остается тайной для товарища, доверившегося „популярному учебнику".

Чрезвычайно затруднительно положение марксиста, учившегося марксизму у т. Бухарина, когда ему приходится бороться на два фронта против Штаммлера и против Г. Кунова. Р. Штаммлер „спрашивает марксистов, утверждающих, что социализм должен наступить с такой же необходимостью, с какой наступает в определенный момент затмение луны, зачем они, марксисты, стараются о с у щ е с т в и т ь этот социализм". Если социализм неотвратим, как затмение луны, то бороться за него не надо: воля людей бессильна там, где действуют стихийные материальные силы, определяющие собой все, в том числе и человеческую волю. Бухарин добросовестно признает, что у части социал-демократии марксизм выродился в фаталистическую теорию, вполне подтверждающую мнение о марксизме Р. Штаммлера. Пример такого марксизма—теория Г. Кунова о том, что история всегда права и нельзя бороться ни против мировой войны, ни против империализма".

Марксист Г. Кунов—фаталист. По определению т. Бухарина, „фатализм это вера в слепой неизбежный рок, „судьбу", которая тяготеет над всем, которой все подчинено". Примеры фаталистов: блаж. Августин, Кальвин, и в особенности сторонники мусульманской религии. Однако, сколько бы ученики т. Бухарина ни читали Г. Кунова, они не найдут у него ни религиозной веры в слепой рок, ни му-

сульманства. Значит, что то такое недосказано, не об'яснено, не растолковано...

Р. Штаммлеру т. Бухарин от себя об'ясняет, что за социализм можно бороться, потому что он зависит от воли людей, а луна не зависит, но Р. Штаммлер снова возразит, что именно воля людей ничего не об'ясняет, потому что марксизм сводит ее к действию материальных стихийных сил и, в конце концов, по меткому полемическому выражению т. Бухарина, приведенному им по поводу спора с Р. Штаммлером, получается круглый квадрат или жареный лед, вместо простого об'яснения простых истин марксизма...

В этом случае ученик Плеханова заметил бы ученику т. Бухарина, что его неудача в споре с неокантианцами является следствием слабой диалектики. Правда, т. Бухарин сторонник диалектического метода мышленя. По крайней мере, официально он признает диалектику. По его определению, „диалектический метод требует рассмотрения всех явлений, во первых, в их неразрывной связи, во вторых, в их движении". Кто же в таком случае не диалектик? Какой современный ученый откажется рассматривать все явления в их связи и в их движении? Эволюционист Дарвин тоже диалектик. Реакционер Ипполит Тэн тоже диалектик, потому что он французскую революцию рассматривал в связи и в движении фактов. „Все в мире движется и все находится друг с другом в неразрывной связи". Но кто же будет против этого спорить? И кто станет материалистом-диалектиком оттого, что согласится с этой истиной.

Неокантианцы с удовольствием признают выражением их собственного идеалистического метода изучения истории утверждение т. Бухарина, что „каждую форму общества нужно понять и исследовать в ее своеобразии. Это значит: нечего стричь под одну гребенку все эпохи, все времена и все общественные формы". Замечательно то обстоятельство, что большой труд Риккерта, направленный против материализма, основан на тех трех положениях, которые т. Бухарин считает выражением сущности диалектического материализма: во первых, все существующее исторически находится в неразрывной связи, во вторых, в непрерывном развитии и, в третьих, необходимо выделять индивидуальное, а не смешивать в массе бессвязных атомов истории. Разницу методов критического идеализма и метода диалектического материализма мы хорошо знаем, но в чем разница методологии т. Бухарина и Генриха Риккерта, мы не можем уяснить, если ограничимся собственным изложением т. Бухарина.

Что такое диалектика, как метод Маркса и Энгельса, в отличие от метода Риккерта и Виндельбанда?— Диалектика означает собой отражение в логическом мышлении всеобщего закона развития в процессе внутренних противоречий. Каждое явление развивается путем наростания количественных признаков, которые неизбежно дают качественное изменение. Эволюционисты говорят, что каждое новое явление, например, революция, означает собой только новое качественное выражение суммы постепенно, медленно, органически, накопившихся количественных признаков. Диалектики возражают: сущность качественного изменения в том, что явление превращается в свою собственную противоположность, отрицает себя, и, следовательно, всеобщим законом является не эволюция постепенного накопления новых признаков, а революция, то есть, превращение данного явления в новое, прямо противоположное его старому состоянию.

Проф. Ардашев,—историк контр-революционер,—утверждает, что великая французская революция органически развилась из старого

режима и в новой форме осуществила задачи, стоявшие перед монархической властью. По марксистскому мнению, революция диалектически развилась из Франции старого режима, превращая количество в качество, создавая такие явления, которые прямо противоположны монархии, хотя историческая связь ни на момент не разорвалась. Следовательно, логически диалектический процесс надо выразить таким образом: каждое данное явление можно принять за исходный момент диалектического развития, каждое явление природы и общества превращается в собственную противоположность, становится на очередной ступени развития антитезисом по отношению к тезису, то есть, к самому себе в первой рассматриваемой стадии развития. Однако, самоотрицание явления означает не его устранение, а преодоление противоречия в новом состоянии в синтезе, который снова становится исходным моментом диалектического развития.

Недиалектическое отрицание капитализма означает его разрушение или признание его исторически невозможным и нравственно вредным, как думали народники. Марксистское отрицание капитализма заключается в утверждении, что внутри капитализма развиваются силы, означающие собой его внутреннее самоотрицание в борьбе противоречий, из которых рождается социализм, как снятие, устранение старых противоречий и образование новых, снова диалектически разрешаемых в новом синтезе.

Гегелевская триада тезиса, антитезиса и синтеза имела у самого Гегеля значение метафизического саморазвития разума. По Марксу, триада представляет собой только отражение в разуме того, что происходит в развитии материальных явлений во внешнем мире. Т. Бухарин не любит триады диалектического развития, не упоминает о ней ни одним словом и хочет об'яснить диалектику без нее. Вследствие этого получается ряд недоразумений, очень легко устранимых, если принять диалектику, как основной метод марксизма, а не как безразличный придаток, который можно поверхностно изложить и забыть, на следующей же странице совершенно им не пользуясь.

Согласно диалектическому методу, теоретический факт исследования противоречий есть точное выражение того, что происходит внутри каждого данного явления вследствие превращения количества в качество. Надо строго различать внешние противоположности столкновения двух явлений и внутреннее противоречие в развитии данного явления; т. Бухарин стоит на точке зрения понимания диалектики, как столкновения двух разных явлений. Сталкивается, положим, общество и природа, то есть, „система и среда“. Возникает противоречие. Это неверно. Отношение общества к природе есть форма социального взаимоотношения людей. Например, при переходе от архаической Греции к классическому периоду ее развития, отношение общества к природе изменилось потому, что изменилось само общество. Общество создало новую природу, в Греции была искусно создана плодородная почва (путем огораживания и очистки полей), была создана новая живая природа, появилась культура оливкового дерева, винограда и пшеницы. Природа оставалась пассивной силой. Общественные экономические отношения превратили греческую старую культуру в ее собственную противоположность: рост производительных сил превратил приспособление к природе в активное создание новой природы, с новой почвой, растениями и животными. Все это произошло не вследствие противоречия между обществом и природой, а вследствие противоречия между классами общества на основе роста производительных сил.

Т. Бухарин повсюду говорит не о диалектическом внутреннем противоречии, а о внешнем противоречии, о столкновении двух разных сил. Это ясно видно именно в том случае, когда он хочет перейти на почву противоречий внутренних. „Но есть, говорит он, и противоречия внутренние, внутри самой системы. Каждая система состоит из составных частиц (элементов), соединенных между собой так или иначе. Человеческое, общество—из людей, лес—из деревьев, стадо животных—из отдельных животных, куча камней—из этих камней и т. д. И тут есть целый ряд противоречий, неслаженностей, неприспособленностей".

Понятие противоречия, оказывается, совпадает с понятием „неприспособленности" и „неслаженности". Но ведь это совершенно неточно. Так же неточно, как предположение, что общество состоит из отдельных людей, а не классов. Если толпа людей дерется из-за входа в вагон поезда, то здесь есть много неслаженностей и неприспособленностей, но нет абсолютно никакого диалектического противоречия. Если наваленная на дороге куча камней противоречит движению автомобиля, проезжающего по этой дороге, то здесь есть только неудобство и нет никакой диалектики.

Капиталистическое общество представляет собой систему, в высшей степени слаженную, до последнего винтика на последнем заводе, до каждого движения рабочего, учтенного, приспособленного и разработанного по Тэйлору, но именно,—чем более наростает техническое совершенство капиталистического аппарата, тем с более могучей силой проявляются в нем внутренние диалектические противоречия, которые, по Марксу, приводят к тому, что юридическая оболочка общества разрывается экономическим содержанием его производительных сил и возникает исторически новый синтез, превращающий, однако, только в новое качество старые количественные признаки системы, видоизмененной революцией в собственную противоположность.

Между тем, т. Бухарин даже противоречия внутри системы рассматривает, как столкновение разных элементов, частиц. Отсюда получаются некоторые логические курьезы. Анекдотический священник опровергал теорию эволюционизма таким способом: „Дарвин говорит: бросьте курицу в воду и у нее выростут плавники. А я вам говорю, что курица просто потонет". Т. Бухарин по этому вопросу спорит не менее остроумно: „Покоя, абсолютной устойчивости в действительности не существует. Постараемся об'яснить это несколько более подробно. Крот „приспособлен" к той обстановке, которая имеется под землей, рыба „приспособлена" к той обстановке, которая имеется в воде; но бросьте крота в воду или закопайте рыбу в землю,—они тотчас же погибнут".

Верно, абсолютно верно. И анекдотический священник прав, и т. Бухарин прав. А все таки их „диалектический метод мышления" не опровергает дарвинизма и не об'ясняет марксизма.

Множество недоразумений, ослабляющих иногда впечатление о, в целом прекрасной, книге т. Бухарина, является следствием того, что он недостаточно учел необходимость наряду с изложением теории марксизма непрерывно восстанавливать его правильное понимание путем критики критиков. Он дает недостаточно энергичный отпор ревизионистским попыткам превращения марксистского материализма в идеалистическую систему.

Пример тому—идеалистическое об'яснение происхождения религии, которое самым нежелательным образом вкралось в книгу т. Бухарина. Он полагает, что „сущность религии состоит в вере в сверх-

естественные силы, в чудесных духов (одного или многих, грубых или весьма неуловимых и эфирных—все равно). Человек распался на душу и тело. Душа это то, что руководит телом. По такому же образцу стали рассматривать и весь остальной мир: стали думать, что за всякой вещью скрывается дух этой вещи; вся природа оказалась одухотворенной". Верно или неверно это,—вопрос второй, а первый вопрос такой: почему это определение религии буквально совпадает с тем, что думают о ней ученые богословы, имеющие целью не опровергать религию, как т. Бухарин, а защищать ее? Протоиерей Н. Боголюбов в своей книге о „Философии религии" совершенно согласен с т. Бухариным. „Как возникло у человека первое представление о душе, для нас неважно. Важно одно, что такое представление у первобытного человека существовало, что он видел в душе активное начало, в которбм сосредотачивались все функции тела. Душа казалась человеку жизненным принципом тела и, вместе с тем, самостоятельным существом. Отсюда первобытный человек и пришел к убеждению, что в окружающем его внешнем мире проявляются такие же по существу силы, такие же души, какая живет и в нем самом".

Совпадение определения и почти буквальное сходство выражений в книге ученого марксиста и ученого протоиерея вызывает вопрос: кто же кого перехитрил?—Т. Бухарин навязал протоиерею Боголюбову марксистское определение религии или наоборот, поповский идеализм вкрался в марксисткий учебник? Правда, можно возразить, что нам важен не факт, что первобытный человек верил в душу, а материалистическое об'яснение происхождения этой веры. Но протоиерей Боголюбов поймает нас на слове и скажет, что ему совершенно безразлично, откуда взялась вера в душу и духов. Для него существенным обстоятельством является самый факт определения религии, как веры в душу, „способный рационально подкрепить положение религиозной веры, признание, что человек первобытный уже чувствовал внутри себя божественную или сверх'естественную силу, умел вбирать ее или приобщиться к ней".

Единственное возражение, какое может сделать т. Бухарин, это ссылка на то, что вера в душу возникла вследствие выделения старшего в роде, который был деятельным творческим началом, а вследствие этого отношения производства человек распался на душу и тело. Не стоило, однако, спасаться от протоиерея, чтобы попасть в об'ятия идеалиста. „Вышеприведенная теория происхождения религии,—разоблачает свое научное инкогнито т. Бухарин,—которую мы считаем абсолютно правильной (то есть, вероятно, теорию, а не религию. В. Р.) принадлежит А. Богданову и впервые была им формулирована в сборнике „Из психологии общества". Позднейшие специальные исследования вполне подтвердили эту догадку. Очень близко к ней подходит Г. Кунов". Положительно, т. Бухарин взят в плен протоиереем Боголюбовым, эмпириомонистом Богдановым и ревизионистом Куновым!

Было бы сложно и до известной степени скучно выяснять, почему религию нельзя сводить к вере в душу и духов, почему анимистическая теория во всех отношениях изжила себя, почему источника религии надо искать в колдовской хозяйственной и медицинской магической технике, почему защита человеческого тела от разложения привела к Особому обряду похорон путем мумификации и каким образом кочевые племена вынуждены были выработать теорию души на основе противоречия (на этот раз совершенно диалектического) между необходимостью передвигаться с места на место и потребностью в

сохранении мумифицированных тел мертвых, и как это противоречие было разрешено сожжением тел, и магическим перенесением их жизненой силы в изображения и как в хозяйственных условиях кочевой орды из погребальной техники развилось представление о духовной силе, живущей в человеке, на место первобытного материализма, соответствовавшего первобытному коммунизму. В таком вопросе, как религия нельзя верить ни эмпириомонистам, ни протоиереям: достаточно с нас исторического материализма...

Трудно сказать, думает ли т. Бухарин, что взгляды А. Богданова „абсолютно" правильны только в понимании религии или и в более существенных составных частях изложения марксизма? Во всяком случае, есть некоторое разногласие между привычной постановкой вопроса о движущих экономических силах общества у марксистов вообще и у т. Бухарина в частности. Обычное определение, от которого нет оснований отказываться, дается следующее: идеологические надстройки общества определяются в конечном счете экономическими отношениями и непосредственно выражают собой классовое сознание и классовые интересы. Классы общества развиваются на почве экономических отношений, а экономика общества определяется ростом его производительных сил. Производительные силы—материя общественной жизни. Поэтому, наше понимание общественной жизни мы называем историческим материализмом, как наше понимание природы—материализмом диалектическим, причем диалектика дает нам метод понимания всякого бытия в его развитии вообще.

На вопрос о том, чем определяется рост производительных сил, мы отвечаем: их диалектическим развитием! Кто этого не признает, тот отрицает диалектическое развитие и вместо него принимает недиалектическое представление об истории общества, как о последовательной смене экономических систем, определяемых в каждый данный момент состоянием техники. В таком случае, появляется следующее определение: „Всякая данная система общественной техники определяет собой и систему трудовых отношений между людьми". Предоставим читателю угадывать, кому принадлежит это определение, т. Бухарину или А. Богданову или обоим вместе, а сейчас выясним, насколько верна самая мысль о том, что техника принятая, как понятие, равнозначное производительным силам, образует собой первоосновную сущность общественного процесса. Т. Бухарин говорит: „Сочетания орудий труда, общественная техника определяет собой сочетания и отношения людей, то есть общественную экономику".

Агностик и скептик естествоиспытатель Дюбуа-Реймон держался того же самого мнения Подобно автору „популярного учебника марксистской социологии", он признавал, что „из техники античной Греции и Рима вытекали производственные отношения", а на этом базисе строилась вся система общественных и культурных отношений. Почему погиб античный мир?—Потому что его техника оказалась слабой, и не в состоянии была сопротивляться варварскому опустошительному движению на Римскую империю германских племен. Капиталистическое общество с высокоразвитой техникой господствует над дикими племенами, а Рим погиб от нападения плохо вооруженных, но количественно сильных германцев. Если бы у римлян была другая техника, они имели бы огнестрельное оружие и сумели бы отразить варваров так, что „они отступили бы вглубь своих лесов окровавленные и с разбитыми черепами". Почему же у римлям была слабо развитая техника? Т. Бухарин не позволяет ставить этого вопроса, потому что техника, по его мнению, является последним фактом, ни откуда больше

необ'яснимым. Но об этом все таки будут спрашивать, и марксисты ответят, что состояние техники определяется уровнем развития производительных сил, а Дюбуа-Реймон говорил: техника создается людьми и зависит от развития естественнонаучных знаний. Если бы римляне умели делать хорошую сталь, у них были бы винтовки и появилась бы такая же разница в вооружении, какая существует между хорошо вооруженными империалистическими гарнизонами в колониях и истребляемыми ими дикарями.

Таким образом, нам приходится выбирать между идеалистическим об'яснением Дюбуа-Реймона и материалистическим об'яснением Маркса, но трудно дать удовлетворительное об'яснение самых существенных моментов научного социализма, ограничиваясь мнениями тов. Бухарина. Любопытно заметить, что в главе, где он говорит об „Общественной технике и экономической структуре общества", он ссылается на А. Нейбургера, на Сальвиоли, на Г. Глоца, П. Луиса, на Р. Меерварта, наконец, на А. Гастева, но к Марксу обращается только за самой несущественной справкой о том, что процесс производства определяет собой процесс распределения продуктов. Когда же все кончено, когда узкое понятие техники окончательно в изложении теории марксизма вытеснило собой более широкое понятие производительных сил, т. Бухарин приводит две прекрасные цитаты из Маркса и Плеханова, полностью опровергающие все предшествующее изложение: Общественные отношения производства, общественные отношения производителей меняются с изменением, развитием материальных средств производства, то есть, производительных сил, и организация всякого данного общества определяется состоянием его производительных сил. С изменением этого состояния должна раньше или позже измениться и общественная организация.

В чем же дело? — Просто в том факте, что т. Бухарин употребляет слова „общественная техника" и „производительные силы", как два совпадающих понятия, а это порождает множество недоразумений. Прав т. Бухарин, когда говорит, что „Каутский иногда безбожно путает технику и экономику", но право на такой упрек имеет лишь тот, кто сам безупречен в терминологии и не путает техники с производительными силами. В последние годы смешивать общественную технику с производительными силами общества тем более трудно, что мировая война создала не только различие их, но и противоречие. Техника неудержимо развивалась. Технику передвижения (грузовые аэропланы, массивные автомобили, подводные дредноуты), технику врачевания (хирургия, протезы), технику производства пищевых веществ, технику суррогатов в промышленности, технику обработки стали, всю общественную технику в целом война обогатила больше, чем так называемые „гении-изобретатели" за половину века. А, между тем, производительные силы также неудержимо падали и до сих пор продолжают падать, и именно общественная техника была непосредственной причиной упадка или, как на севере Франции, гибели производительных сил общества. Это диалектическое противоречие было, в частности, одним из свидетельств невозможности для капитализма поддерживать производительные силы на старом уровне и вызвало спор об „уровне зрелости" капитализма, решенный коммунистами в смысле об'ективной неизбежности снятия диалектического противоречия после военного капитализма превращением его в собственную противоположность, в коммунистическое общество.

Впрочем, через несколько десятков страниц, анализируя сущность социальной революции, т. Бухарин, к счастью для точности

терминологии, забывает о Богданове и дает, по Марксу и Ленину, совершенно правильные определения. Этот пример показывает, что многие погрешности книги т. Бухарина зависят не от того, что он неправильно понимает марксизм, а от невыдержанности его работы. Она невыдержана по литературному языку. Серьезное и строгое обсуждение вопросов в некоторых частях книги внезапно перемежается полемикой слишком ругательного свойства. И не это важно, а то, что читатель узнает не взгляды разбираемого автора, но его отрицательные нравственные качества. Узнает, что такой-то автор „каналья" или заслуживает горячечной рубашки в сумасшедшем доме... Зачем в таком случае вообще упоминать авторов, а тем более излагать их с непомерным количеством немецких слов и цитат, опять таки собранных кучами по отдельным главам и отсутствующих в других местах. Огромную литературу, разработанную т. Бухариным для своего учебника, можно было бы использовать гораздо целесообразней, без псевдо-научного аппарата случайных цитат и мимолетных полемических экскурсов. Использована она, правда, неравномерно. Много споря с германской социал-демократией, тов. Бухарин только мельком упоминает, что она „своим официальным философом ставит г. Форлендера, кантианского идеалиста". Философские разногласия внутри современных социалистических и марксистских групп остаются невыясненными.

Может быть, это об'ясняется тем, что т. Бухарин имел задачей выяснить только социологическое учение марксизма, оставляя в стороне его философию? Нет,—потому что диалектический материализм разработан им менее полно, как введение, но достаточно отчетливо и параллельно с историческим материализмом. Может быть, т. Бухарин не чувствует себя также свободно в обсуждении философских вопросов, как в кругу социологических или, особенно, экономических? Да, действительно, т. Бухарин не любит философии. Если поверить ему, то после материализма 18 века было только три философа: Пауль Эрнст, Герман Кайзерлинк и Освальд Шпенглер. Кроме того, „марксистский коммунизм имеет свою философию, которая есть философия действия и борьбы, научного познания и революционной практики". Но с другой стороны, „философия пыталась и пытается привести в порядок, в систему всю совокупность знаний, об'единить их одной точкой зрения, связать их в одно стройное целое. Поэтому, философия помещается, можно сказать, на самой вершине человеческого духа".

Верно-ли это? Попросим т. Бухарина спуститься с вершин человеческого духа, где марксисту делать нечего, и противопоставим его определению мнение о философии Ф. Энгельса. „Вопрос об отношении мышления к бытию, говорит Энгельс в книжке о Фейербахе,—этот высший вопрос всей философии, имеет свой корень, как и религия, в ограниченных и невежественных представлениях первобытного человека... Что было в начале—дух или природа? Философы по своим ответам разделились на два главных лагеря. Те, кто стоял за первоначальность духа, образовали лагерь идеалистов. Другие, считающие началом всего природу, принадлежат к различным материалистическим школам. „По справедливому выражению Энгельса, марксизм совершенно не нуждается в придумывании общих связей вещей, и уж во всяком случае надо искать корней философии не на вершинах, духа, а в низинах первобытного суеверия и невежества переработанного идеалистами в отвлеченные системы. По мнению Энгельса, об'ективная истина, которая раньше открывалась философией, теперь выясняется путем обработки методом диалектического мате-

риализма фактов эмпирического естествознания в систематическую связь между процессами природы.

Таким образом, естественно-научный диалектический материализм является для марксиста способом решения философских вопросов, а следовательно марксизм есть не философия, но отрицание философии. Исторический материализм убил философию в области истории, как диалектический материализм упраздняет философские точки зрения на природу. Естествознание, все более и более усваивающее диалектический характер процессов природы, может исполнить ту задачу познания, которая раньше считалась привиллегией философского способа мышления о сущности познания и об'ективного предмета познания. Предоставим тем, кто полагает будто марксизм есть новая философия, защищать свой взгляд против Ф. Энгельса, и поставим другой вопрос: можно ли считать марксизм социологическим учением, поскольку он имеет теорию исторического материализма?

Есть две основных области, подлежащих исследованию и научной систематизации,—природа и общество. Для буржуазного мышления эти две области кажутся или обособленными и дают материал для философии и социологии или, как для неокантианцев, различаются не по материалу познания, а по методу познания, то есть, человеческий разум предписывает природе законы, обобщающие явления в естественно-научные типы, а историю рассматривает, как связь индивидуальных явлений. Для марксистов существует единный процесс развития материальных явлений. Материальные основы природы изучаются при помощи диалектического материализма; материальные основы истории общества—при помощи материализма исторического.

Т. Бухарин недоумевает: „Некоторые товарищи считают, что теория исторического материализма ни в коем случае не может рассматриваться, как марксистская социология... Где же место теории исторического материализма? Это не есть политическая экономия. Это не есть история. Это есть общее учение об обществе и законах его развития". Теперь позвольте нам прийти в недоумение... В другом месте т. Бухарин правильно цитирует Маркса, именно отрицающего социологию, как общее учение об обществе и законах его развития: „Каждый исторический период имеет свои законы, но как только жизнь пережила период данного развития, вышла из данной стадии и вступила в другую, она начинает уже управляться другими законами". Как же примирить противоречие между т. Бухариным и Марксом? Т. Бухарин издает „приказ специальным общественным наукам, для которых социология является методом исследования". Значит, единой социологии нет; а есть только социологический метод? Но в таком случае, почему т. Бухарин считает ошибочным мнение „товарищей, полагающих, что теория исторического материализма есть лишь живой метод исторического познания", а не социологическая теория?

Мы запутались в противоречиях. С одной стороны, существуют только специальные общественные науки, руководимые социологическим методом, с другой стороны, социология должна рассматриваться не как метод, а как общее учение об обществе и его законах, и с третьей стороны, Маркс говорит, что таких общих законов нет и, следовательно, если говорить о социологии, то надо признать много социологий с особыми законами не для общества вообще, но для каждого исторического периода.

В чем же дело? Исторический материализм не политическая экономия, не история, и уж конечно, не астрономия и не ботаника...

Исторический материализм есть часть той науки, которую Маркс и Энгельс называют научным социализмом, а мы называем марксизмом. Дарвинизм есть особая наука, названная так по имени основоположника эволюционной теории. Марксизм тоже есть особая наука, названная по имени основоположника революционной диалектической и материалистической теории развития природы и общества. Марксизм есть материализм в его самой последовательной и научной современной форме, полностью исчерпывающий вопросы человеческой теории и действия в классовой пролетарской форме мышления.

Основной революционный смысл марксизма, как научного социализма, (а теперь западные ученые говорят—последовательного марксизма, то есть большевизма), в том, что он решает вопросы философские и социологические, не создавая для этого никакой особой философии или социологии, а—посредством выработки всеобъемлющего материалистического миросозерцания.

Вот и все. Больше нам ничего не надо. Этим большевики, как последовательные материалисты—марксисты, отличаются от непоследовательных марксистов, от критических марксистов кантианской школы, от эмпириомонистов, которые неизменно обнаруживают основной „теоретический грех" марксизма, отсутствие в нем философского обоснования, и пользуются для философского или социологического „дополнения" марксизма первой попавшейся идеалистической теорией. Ни от кантианцев, ни от эмпириомонистов т. Бухарин не отмежевался с достаточной последовательностью. Богданова он упоминает только один раз, да и то лишь для того, чтобы назвать некоторые его взгляды „абсолютно правильными", а о Канте страшно туманно сказано, что „неизбежный фетишизм капиталистического мира прекрасно выражен у буржуазного гения И. Канта в его учении о категорическом императиве".

Простота изложения, точность определений, правильность постановки вопросов, бесспорность их решения, с точки зрения теории, которой придерживается автор,—необходимые свойства учебника, тем более марксистского. Работа т. Бухарина этим требованиям не вполне удовлетворяет.

Если даже он прав в тех вопросах, которые вызвали споры (в частности и в особенности в критических статьях о нем в 3 № журнала „Под знаменем марксизма"), то самый факт спорности понижает качество его книги, как учебника, но повышает ее значение, как дискуссионной марксистской работы. В самом деле! Редко какая книга возбуждает мысль с такой силой и живостью, как „теория исторического материализма". Она во многом спорна, не имеет литературной обработки, она лишена могучего стиля, которым избаловали нас Маркс, Плеханов, Меринг, но она захватывает, теоретически волнует, вводит во все вопросы, ставит на очередь дискуссии множество проблем, заглушенных громами революции, она впервые после долгого молчания марксистов о теоретических основах марксизма открывает дорогу нашей полемике против невероятно разросшейся литературы (главным образом немецкой и английской; ее, к сожалению, т. Бухарин не использовал), направленной против марксизма, как против теории большевизма.

Быть может, самое ценное качество книги—ее живое общественное происхождение из дискуссий среди учащейся коммунистической молодежи. „Книга родилась из дискуссий на семинарии, на которые собирались товарищи, окончившие лекторскую группу Свердловского университета, ставшие потом научными сотрудниками его". Из дис-

куссий родилась и дискуссионной осталась... Живой спор о мнениях т. Бухарина, несомненно, проникнет в глубину партии и даст необходимый, давно жданный толчек развитию теоретического мышления среди коммунистов.

Ни одна из имеющихся книг (Плеханова, Аксельрод, Ленина, Деборина) не отвечает огромной потребности в систематическом освещении всех вопросов теории марксизма. Т. Бухарин выполнил работу, далеко выходящую за пределы поставленной задачи дать „популярный учебник". Он дал большую дискуссионную работу, которая может послужить великолепной основой для продолжения дисскуссий, начавшихся в Свердловском университете, для коллективной разработки спорных или просто оспариваемых мнений, для доведения современного марксизма до полной научной ясности, для окончательной ликвидации тяжелого наследства ревизионизма, для преодоления всех попыток критиковать и вульгаризовать марксизм. После этого будет написана кем-нибудь книга, о которой можно будет сказать, что она действительно выполнила задачу, намеченную т. Бухариным „дать систематическое изложение теории исторического материализма и прежде всего для рабочих, ищущих марксистского знания". За т. Бухариным останется почетное право считать себя пионером, впервые после великого умственного хаоса, в который погрузила общество мировая война, поставившего задачу восстановить пролетарское мировоззерцание в его чистых и простых научных формах революционно-материалистического марксистского большевизма.

**В. Р—н.**

George LANSBURY. What I Saw in Russia. London, 1920.

**Джордж ЛЭНСБЬЮРИ. „Что я видел в России". Лондон. 1920.**

Эта книга была написана еще в те дни, когда Советская Россия оставалась „запрещенной страной", когда от английского правительства получить паспорт на право въезда в Россию было так же трудно, как благочестивому католику от римского папы добиться разрешения посетить царство сатаны Тем острее было специфическое, британское корреспондентское любопытство к стране, где общественный мир построен на совершенно иных началах, чем во всех „цивилизованных странах", вернее сказать, без этих начал, без церкви, собственности и буржуазного государства, следовательно,—„погружен в хаос и тьму".

Немного наивно, Лэнсбьюри рассказывает, как он, старик, глубоко религиозный, привыкший к английской „респектабельности", ценящий нам совершенно непонятные черточки старинного традиционного быта, „сбирался в Россию к варварам, со страхом и слезами", подобно его отдаленным предшественникам сто лет назад—в Грибоедовскую Москву, в совсем иную Россию.

Попасть в Россию было трудно. „Я уверен,—говорит автор,—что британский народ должен понять простой факт: нами управляет теперь безответственная тайная полиция. Рабочие классы стремятся к образованию своего Интерна, а капиталистические правительства создали новый „интернационал", состоящий из шпионов и агентов-провокаторов, чтобы обеспечить привиллегированным классам всех стран право эксплоатировать своих ближних. Рабочий Интернационал первой своей задачей должен поставить полное уничтожение, с ветвями и корнями, этого международного шпионажа и сыска". Преграда, стоящая между Россией и Западом, преграда полицейского тягостного надзора, розыска, тупой и жестокой подозрительности, многочисленной и по профессии подлой полиции, производит отвратительное, угнетающее впечатление на культурного европейца, независимо от его политических симпатий и классовой принадлежности. И тем сильнее, и тем острее любопытство к „запрещенной стране".

Легче пробраться в Центральную Африку, чем в Советскую Россию, легче напечатать самую злую хулу на досточтимого буржуазного господа бога, чем рассказать правду о Советской земле. „Гильдейский социалист" Лэнсбьюри, преодолев полицейские преграды, явился в Россию, подобно Томасу Мору, который, хотя бы в литературной форме, хотел посмотреть, как выглядит социалистическая страна. „Я не поехал в Россию, как хладнокровный исследователь, чтобы изучать и разыскивать ужасы этой страны. Я явился, в качестве социалиста, чтобы посмотреть, как выглядит социалистическая революция, совершающаяся в близком с нами соседстве. И, между прочим, мне хотелось поглядеть на людей, делающих эту революцию".

Мы напрасно думаем, что в Западной Европе только рабочие, настроенные коммунистически, умеют нас понять и оценить. Мы напрасно полагаем, что ежедневная печать, местная буржуазная и эмигрантская, в состоянии была переполнить всю Европу клеветнической желчью. Культурный европеец среднего буржуазного уровня, англичанин в особенности, хочет верить только тому, что он сам видел своими глазами. Лэнсбьюри типичный средний буржуазный человек с расплывчатым христианско-социалистическим миросозерцанием. Первый вопрос, какой он задал Ленину, был о вере и о церкви.

„Ленин принадлежит к наиболее реалистическим людям, каких только мне приходилось видеть. Он высказывается прямолинейно, совершенно не заботясь о том, какое впечатление могут произвести на слушателей его слова. Говоря со мной о религии, он сказал: „Не считайте меня агностиком. Я—атеист". Я улыбнулся и ответил: „Хорошо пусть будет по вашему, но ваши взгляды на жизнь кажутся мне очень христианскими". На внешней стене кремля, на стене, которая обращена к высшей святыне русского народа, начертано следующее проклятие религии: „Религия есть опиум для народа". Этот поступок Советского правительства навлек на него самые суровые порицания со всех сторон. Для меня лично самым главным желанием во время поездки в Россию было узнать, насколько правильны утверждения, будто большевики разрушили церковь и

уничтожили религию. Патриарх Тихон безусловно заявил мне, что Ленин и его товарищи, независимо от своих собственных взглядов на религию, добиваются, чтобы каждый человек обладал полной свободой совести и правом исповедывать избранную им веру. Это подтверждалось тем, что я видел ежечасно и ежедневно на всех улицах всех городов и деревень. Церковь абсолютно свободна исповедывать что ей угодно, совершать какие угодно богослужения и молиться богу как ей нравится. Единственный грех правительства не в том, что оно откровенно исповедует материализм, а в том, что оно отказывает церкви в финансовой государственной поддержке".

Нам эта оценка кажется несколько дикой. Мы слишком высоко поднялись по ступеням материализма,—философского и государственного,—и не можем не видеть в защите государственной церкви отголоска европейского буржуазно-религиозного варварства. Но для Лэнсбьюри здесь есть нечто, становящееся нам понятным только в атмосфере Европы, расслабленной после войны христианской любовью, как паралитик опиумом.

„Наблюдения над Россией убедили меня в том, что лишь при наступлении Социалистической республики, мертвые кости теологии начинают покрываться живым телом, начинают двигаться, и снова учение Христа одерживает победу".

На помощь этому сомнительному наблюдению приходит оживающая теперь в буржуазных ученых кругах теория близкой связи раненного христианства с социализмом, и отсюда развивается христианский социализм Лэнсбьюри. На нем лежит полная ответственность за эту, нам чуждую и непонятную, оценку социалистической России, как царства социалистического Христа. Гораздо существенней его наблюдение над экономической жизнью России, правда, только из окна „Астории" в Петрограде, в дни полного расцвета „военного коммунизма" и с заранее сложившимся убеждением или предубеждением, что страна, где нет капиталистической промышленности—не имеет никакой промышленности, что это мертвая страна и мертвый народ.

Лэнсбьюри испытал неопределенное разочарование, увидев, что это не так. „Полный застой промышленности для меня совершенно непонятное явление, и все таки я убедился своими собственными глазами, что, хотя все капиталистические предприятия совершенно прекратили свою деятельность в России, однако, национальная и муниципальная промышленность успела чрезвычайно вырасти не в такой мере, чтобы обеспечить весь народ во всех его нуждах, однако, в такой мере, чтобы сделать возможным для большевистского правительства держать на поле битвы многомиллионную армию, перевозить, кормить и одевать эту армию и давать ей возможность бить врага на всех фронтах. Этот потрясающий факт, по моему, совершенно упущен из виду всеми, кто писал о России или говорил о ней, как о мертвой нации. Может быть, этот потрясающий факт совершился в страшно тяжелых условиях, но это не мертвая и не умирающая нация. Иначе она не могла бы совершить исполинское дело в два с половиной года".

Вероятно потому, что Лэнсбьюри рассчитывал увидеть в России мертвую и погруженную в хаос страну, он так удивлен был своими наблюдениями. Еще более вероятно, что он добросовестно сравнил положение пролетариата в России и на Западе, и пришел к выводу, что в исключительно бедственных условиях жизни, созданных, по его словам, блокадой союзников, рабочий живет все же лучше, чем его товарищ на Западе в „нормальных условиях капитализма".

„Я бродил по улицам, и видел множество людей торопящихся по разным направлениям. Это не были бесцельно и без дела бродящие люди. Они все поглощены какими-то жизненными заботами, имели вид очень занятых людей. Правда, закрытые магазины придают улицам какой-то похоронный отпечаток, но все остальное указывает на то, что происходит оживленная общественная работа. Я каждую минуту останавливал своих друзей и указывал им на кучки людей на углах улиц. У них не было такого ужасного вида истощенных и истерзанных страдальцев, как у рабочих, например, в Кельне, и, во всяком случае, они выглядели не так печально, как большинство населения в городах Англии. Я не утверждаю, что каждый имеет вид хорошо питающегося человека, пользующегося полным достатком. Но в общественном строе России есть какая то сила, делающая ее способной к крайней выносливости, есть нечто помогающее преодолеть трагедию последних нескольких лет, или переносить ее с достоинством и уверенностью. Один русский мне сказал: „Вы не сможете убить русского народа, даже если бы посадили его на хлеб и воду".

На некоторых европейцев, приехавших в социалистическую Россию, она производила отрицательное впечатление просто самым фактом своего полного революционного противоречия всем общественным началам Запада. Лэнсбьюри, мирный буржуазный социалист и христианин, был очарован именно этой

несхожестью. Как будто свежий ветер повеял на него и донес отголоски романтических образов Великой революции, воспринятых не из истории, а из героической симфонии Карлейля о гениях французской старой революции. Так, по крайней мере, продумал он образы вождей Революционной России.

„Если Ленин душа революции, Троцкий—живое воплощение революции в работе. Троцкий—организатор победы на фронте войны и на фронте промышленности. Со своей железной волей и решимостью, он не хочет признать никакого поражения на кровавом или на бескровном фронте. Когда он и Ленин говорят на с'езде или митинге, их слушают и воспринимают, как выражение двух необходимых сторон революции—энтузиазма и творческой работы. Он—то, чем был Карно во французской революции, организатор победы внутри страны и на ее границах. Но, в противоположность Карно, он теперь стал организатором победы в сфере труда, и это роднит его с величайшими руководителями человечества."

Лэнсбьюри видел много людей в своей жизни. В известном смысле, узнавать людей—его профессия. „В течении моей долгой жизни мне пришлось видеть много исключительных людей во всех странах света. Я близко знал короля Эдуарда в Англии. Я с ним беседовал и завтракал. Я хорошо знаком с президентом Вильсоном. Я видел за последние двенадцать лет большинство государственных людей мира, в официальной обстановке и в частной жизни. Я знаю высших сановников церкви, руководителей рабочих союзов, людей больших и мелких дел. И, однако... Никого из них я не могу даже „приблизительно сравнить по всеобъемлющим способностям, могучей силе воли и глубокому искреннему энтузиазму с Николаем Лениным или Владимиром Ульяновым".

С наивным настроением европейца, свыкшегося с мелочами быта и придающего им решающее значение в жизни, Лэнсбьюри рассказывает, как в день 61-го года своего рождения он посетил Ленина недолго спустя после его пятидесятилетнего юбилея. „Я застал его в совершенно простой комнате одного из больших дворцов Кремля. Хотя солдаты охраняют вход во дворец, но в самих комнатах нет никакой стражи. Несколько машинисток сидели за работой, и не было абсолютно ничего, похожего на придворную пышность. Меня глубоко поразила разница между этим помещением и обычными кабинетами министров, какие мне случалось видеть во всех других государствах. Я находился лицом к лицу с человеком, стоящим в центре величайшей в истории мира революции, руководителем реорганизации и переустройства жизни стомиллионного народа, человеком, со всех сторон окруженным открытыми врагами и ложными друзьями, пытающимися строить жизнь народа, как много столетий тому назад дети Израиля хотели делать кирпичи без соломы. Трудно себе представить, чтобы этот человек нес на своих плечах исполинскую тяжесть государственного управления в стране, пораженной всеми бедствиями. Ленин только что оправился от тяжелой болезни, но по внешнему виду был бодр и здоров. Ни на один момент его беседа со мной не становилась скучной, ни разу он не колебался давать мне самые прямые, точные ответы, звучащие откровенно и благородно. Премьер-министры других государств любят говорить о трудностях, препятствиях, окружают себя целой толпой чиновников, чтобы предупредить возможность какого-нибудь неточного ответа: напротив, Ленин не прибегает ни к чьей помощи. Он не дипломат, не пользуется выражениями сомнительными и двусмысленными, но сам старается, чтобы вы его поняли правильно. В его суждениях совершенно нет личного оттенка. Это самый ненавистный для одних, и самый любимый другими человек во всем мире. Однако, по моему убеждению, он совершенно равнодушен и к злобе, и к любви. Я не думаю, чтобы он был бы лишен человеческих чувств,—я знаю, что он любит детей,—но в борьбе за социализм он не склонен становиться на ту или другую сторону, руководясь личными соображениями. Говоря с ним, совершенно нельзя представить, чтобы этот человек мог любить убийство, пытки или вообще ужасы, какие возлагаются на его совесть. Он слишком велик по своим воззрениям и слишком всеобъемлющ в своих симпатиях, чтобы нуждаться в убийствах.

Подобно древним святым, он всю жизнь посвятил борьбе с капитализмом, самым страшным, по его мнению, спрутом, губящим человечество. В моем представлении он воплощает слова Томас Пэна: „Мир моя родина, делать добро моя религия, все человечество—семья моя". Повторяю, мне странно думать о нем, как о человеке, лишенном религиозного чувства, потому что вся его жизнь, кажется мне житием древнего святого. Только за пределами России возможна печатная клевета на него. Ведь, Ленин засвидетельствовал себя великим беспристрастным бойцом и вождем дела, ради которого единственно только стоит жить, и если надо, умереть: утверждения Интернационала путем замены капитализма социализмом".

Нет ничего более странного, чем этот религиозный восторг европейского буржуазного человека перед Советской революцией и ее персональным вопло-

щением в Ленине. Чтобы могло получиться такое суждение, необходимо соединение двух различных фактов: очевидного противоречия увиденной собственными глазами истины в России с отвратительными изданиями „Российского комитета освобождения", который в Лондоне распространяет английские зеленые брошюрки, имеющие целью „содействовать низвержению большевизма, восстановлению порядка и возрождения России". Антибольшевистская пропаганда за границей приносит свои плоды: она изображает большевизм в таком фантастически-чудовищном виде, что самое легкое дыхание правды вызывает чувство изумления перед бельшевизмом, как перед единственной героической и творческой силой в удушливой атмосфере умирающей буржуазной Европы.

W.

**Dr. Alfons Goldschmidt. Moskau 1920. Tagebuch Blätter. Berlin. 1920.**

**Д-р Альфонс Гольдшмидт. Москва 1920. Листки из дневника Берлин. 1920.**

Гольдшмит,—по своему миросозерцанию, рядовой буржуазный человек. Он не видит больше, чем он видит, то есть, только поверхность вещей и событий, он глубоко не задумывается о причинах, а приводит первое встретившееся приблизительное об'яснение. Он стоит вне революции, и не склонен ни любить, ни ненавидеть ее. Он—публицист, а такие люди нужны всем режимам, лишь бы они умели правдиво и занимательно рассказывать о том, что интересует читающую публику.

Читающую публику сейчас интересуют большевики. Все остальное в Европе по старому, только большевизм захватывает дыхание ужасом, привлекательностью, интересом своих социальных прокламаций. Читающая публика хочет знать о большевиках. Очевидцев, рассказывающих о них, более чем достаточно. Берлин переполнен эмигрантами. Их слушают и качают головами. Кто станет верить партиям побежденным, мстящим победителю печатным словом? Кто станет пользоваться свидетельствами побежденных политиков для оценки их победителей? И, кроме того, такая Москва, как изображают ее меньшевики и кадеты, представляет собой нечто невероятное, чудовищное, фантастическое, достойное, чтобы посмотреть хотя издали, и занести, в качестве добавления, на страницы Дантова Ада, в самые страшные его круги.

Поэтому, доктор Гольдшмидт едет в Москву. Он не знает русского языка и, следовательно, является очевидцем в самом точном смысле слова. Он бегло записывает впечатления чудесной страны сбывшихся утопий, и невольно становится серьезным, бросает тон корреспондентской болтовни, когда ему приходится видеть людей и города, решающие судьбу мира. Его бедный буржуазный язык не находит слов для достаточно отчетливого выражения и оценки увиденного. Он прибегает поэтому к сравнениям. Нам они чужды, но выражают степень волнения европейского рядового человека, потрясенного живым созерцанием нового мира.

Гольдшмидт изображает третий Интернационал. „История третьего Интернационала в Москве,—вероятно самая интересная история, какую только можно себе представить на земле. Эта история великой политики, самопожертвования, могучего влияния, почти напоминает историю папства. Я не знаю, как построена организация этого аппарата, об'емлющего собой весь мир. В канцеляриях работает очень мало людей. Но красные фанфары гремят отсюда всему миру. Интернационал можно понять, так сказать, архитектурно, как Ватикан, как дворец папы, но без папы. И наверно влияние его на мир не менее значительно, чем влияние Ватикана. Оно не заключает в себе ничего искуственного, это только организационный центр или централизованная организация уже существующего, очевидно развивающегося. Революции, подобно религиям, не могут быть навязаны силой, не приходят извне, они возникают естественным путем".

Гольдшмидт рассказывает только о том, что он сам видел. Так рассказывает он о коммунистической партии. По европейскому масштабу партий, коммунистов в России очень мало. Всего около шестисот тысяч, и из них большая часть находится на фронте. Это—правящая партия. Гольдшмидт совершенно не понимает меньшевистской паники по поводу партийной диктатуры. Везде в Европе от имени класса управляет его партия. Особенность России только в том, что здесь иной, чем везде общественный класс,—пролетариат,—поставил свою партию во главе управления страной. Не это удивительно. Нигде и никогда Гольдшмидту не приходилось видеть, чтобы государственный строй был организован столь небольшим количеством людей. Как же возможен режим, приводимый в действие таким маленьким человеческим аппаратом? „Для этого есть основания, основания очевидные и в высшей степени прочные. Стомиллионный

народ не стал бы так спокойно и долго переносить власть ничтожного меньшинства. Народ нашел бы силы устранить это меньшинство, если бы у него была воля к устранению. Воли к устранению большевиков нет в России. Почему? Потому что никто не знает, чем можно заменить большевиков, кто возьмет власть и как иначе можно власть использовать. В Москве есть много людей, которые о Деникине говорят с восторгом. Но, когда их спрашивают, чем может Деникин улучшить положение, они молчат. Никакая партия, никакая человеческая власть, не в состоянии была бы принести с собой что-нибудь существенно иное, или лучше управлять, чем большевики".

Это загадка. Гольдшмидт говорит даже, что это новая „мировая загадка". Он всеми усилиями своего буржуазного мозга старался выяснить смысл социальной тайны большевизма, и то об'яснение, какое в результате возникло, может быть верно или неверно, но оно существенно тем, что представляет собой отражение в мозгу среднего образованного немца фактов, воспринятых добросовестным и упорным наблюдением над русской жизнью после октября.

„Захват власти большевиками был только фактическим закреплением и дальнейшим развитием уже имевшегося налицо состояния. Оно имело смысл совершенствования сложившегося аппарата для целей преодоления невероятных трудностей земледельческих отношений силами пролетариата. Все остальное,— только сопутствующее явление. Все остальное можно хвалить или ненавидеть, но никакого существенного значения оно не имеет. Власть большевиков укрепилась благодаря тактике, принципиально твердой, но с очень гибкой практической программой, о которой распространяется много бессмысленного вздора".

Гольдшмидт не находит нужным даже упоминать, а не только оспаривать, сообщения о большевиках русской эмигрантской печати, хрустящие на зубах, как песок, у каждого немецкого наблюдателя русской жизни, который решается тратить время на чтение этой литературы.

„Диктатура пролетариата,—продолжает Гольдшмитд,—провозглашенная в России коммунистической партией, постольку действительно является диктатурой, поскольку подавляющее большинство российского пролетариата, занятого в индустрии, и мелко-буржуазного крестьянства, пользуется большевистскими формами управления. Во всем остальном—это диктатура коммунистической партии, которая оценивает об'ективную необходимость общественного развития, использовывает его, и организует. Вот и все причины власти большевиков. В огромном большинстве своего населения, Россия не коммунистическая страна, но зато она страна Советская. Нет сейчас никакой другой системы управления, и в течение долгого времени быть не может. Советская система управления видоизменяется, приспособляется к условиям реальной политики, (об этом тоже рассказывается много бессмыслиц), но сама по себе она неискоренима. Даже царская власть не могла бы ее искоренить. Царь должен был бы стать советским царем и, следовательно, перестал бы существовать. Это можно утверждать с полной уверенностью. Это так, иначе быть не может, Европа и Америка разобьют себе головы, пытаясь изменить ныне существующее положение вещей и воображая, что можно перестроить по иному принципу Советскую Россию. Если даже возможно было бы низвергнуть власть коммунистической партии в России и какие-нибудь мелочи сделать по иному, то все равно невозможно повернуть назад ход исторического развития. Оно пошло вперед так далеко, что стало необратимым вспять ходом событий. Если произойдет иначе, вся страна погрузится в хаос".

Гольдшмидт предупреждает своего читателя, что он делает только беглые заметки в записной книжке путешественника, явившегося в Москву для изучения народного хозяйства в России. Свою большую работу „Хозяйственная организация Советской России" он построил, как теоретический базис для внешних наблюдений над жизнью коммунистической Москвы. Эти наблюдения пестры, разнообразны, разнородны, в них нет никакого энтузиазма к коммунистическому строительству, как нет никакого желания поддерживать своим авторитетом эмигрантские сказки о России.

Наряду с наблюдениями, углубляющимися в самую сущность Октябрьской революции, Гольдшмидт разбрасывает мимолетные иронически-жизнерадостные заметки о случайных встречах в Москве. Он был в гостях у „буржуев", (выражаясь по-московски). Буржуи, как буржуи. Не хуже, не лучше, чем везде в мире. Их не зарезали, но заставили работать, и поэтому они жалуются на Советскую власть. Дама в шелковых чулках была советской работницей. Дама в изящном кимоно не была советской работницей. Она чистосердечно призналась, что хотела бы приносить пользу народу, но она ничего не умеет. По ее мнению, революции должны происходить только в том случае, когда все научатся приносить пользу народу. „Что же делать?—жаловалась она. Приходится продавать вещи одну за другой. Поэтому мне очень жаль, что я не умею приносить пользу народу". Маленькая дама в шелковых чулках тоже была недовольна. Хотя она

приносила пользу народу, насколько хватало ее умения, но зарабатывала этим очень мало. Ей не доставало ни денег, ни пайка. Правда, она не выглядела особенно изголодавшейся. Она была непохожа на скелет и обладает очень округленной фигуркой. Даже ногти у нее тщательно приведены в порядок. Следовательно, она жила, и жила совсем не плохо. В Москве, впрочем, каждый на что-нибудь жалуется, но все таки живет, а сотни тысяч людей живут даже очень хорошо. Правда, Советской власти трудно угодить московскому „буржую". В мирные времена этот „буржуй" любил поспать, поесть и хорошо выпить. Поэтому теперь он не в состоянии примириться с советской системой воздержанного и трудового образа жизни. Однако, он живет, по возможности, без всякой службы, пока не проживет все, что может обеспечить ему нетрудовую жизнь. После этого ему приходится начать приносить пользу народу. Жалобы на хлеб, жалобы на мясо, жалобы на пищу, жалобы на одежду, жалобы на деньги. Жалобы на все вообще. Перспективы никакой, но очень много ретроспективных взглядов. Это понятно, и так произойдет везде... Буржуи не социалисты, и тем менее коммунисты. Они теряли на всем, что выигрывал социализм. Поэтому—ругаться их законное право".

В светящихся брызгах этой иронии теряют смысл мрачные повествования об ужасах Чрезвычайки, хаоса, голода в Москве.

Когда Гольдшмидт приехал в столицу Советской России, он, начитавшись ужасов, прежде всего задал этот вопрос.

„Существует-ли в Москве террористическая диктатура? Нет, в Москве террористической диктатуры не существует. Если бы она была, как возможно представить себе первомайский бульвар 1920 года, озаренный сиянием весенней радости? На этом бульваре, опоясывающем Москву, не разрываются бомбы, не гремят орудия, не сверкают диктаторские взоры. Проходят парочки, гуляют красноармейцы, возвращаются с работы люди. Ведь, Москва стала пролетарской, и ее бульвары принадлежат пролетариату. Слышны шутки, решаются проблемы, прохожие шепчутся о своих делах и женщины влюбляются. Ни в одном городе мира я не видел на прогулках такой жизнерадостности, соединенной с чувством достоинства. Ни в одном городе мира (а я пересмотрел их достаточно) мне не пришлось видеть таких нравственных (в романтическом смысле слова) женщин. В России не исчезла любовь, но перестало существовать обобществление женщин через посредство проституции. Купля—продажа любви еще продолжается, но вымирает. На бульварах Москвы гуляют, беседуют, смеются, заигрывают, но здесь не свистят пули, не взрываются бомбы, в человеческий поток не врывается свирепая рука, чтобы хватать и арестовывать. Все спокойно и полно достоинства".

Гольдшмидт очень далек от коммунизма. Он просто наблюдатель. Он рассказывает о том, что видел. Он переступил рубеж капиталистической Европы, границу цивилизованного мира, за пределами которой меньшевики ему обещали показать дикие ужасы и озверевшее человечество. В действительности, он увидал диктатуру пролетариата, героизм страданий и радость, светящуюся сквозь ночь блокады и интервенции. Тем труднее было возвращаться ему обратно, в „царство собственности и цивилизации".

„В Штеттине мне пришлось снова пережить наглую подлость шпионажа, бесстыдство политического сыска, а затем я написал эту книгу".

**М. Х.**

---

### Альфонс ПАКЕ. Смысл русской революции. Лейпциг. 1919.

### Alfons Paquet. Der Geist der russischen Revolution. Leipziq. 1919.

Русские контр-революционеры стремятся обессмыслить революцию; контр-революционеры германские стремятся ее понять. К их числу относится Паке. Его книга уже становится историческим документом года высшего всемирного напряжения революционных движений и революционных настроений. В 1919 г. даже самые спокойные головы теряли равновесие, переживая „детскую болезнь левизны" или старческую болезнь контр-революционной паники.

Паке головы не потерял. Со своей буржуазно-классовой точки зрения, он хотел отчетливо понять, что такое русская революция, как воплощение большевизма, и что такое большевизм, как полное воплощение коммунизма.

Он правильно поставил вопрос следующим образом: Социалистическая революция может быть только пролетарской. Пролетарская революция не может не руководиться большевизмом, а большевизм полностью заключается в Коммунистическом Манифесте Маркса и Энгельса. Большевизм, коммунизм, марксизм совпадают в едином знаке равенства с пролетарской социалистической революцией.

„Русская революция кажется мне, несмотря на свое лицо Медузы, каким оно открылась нам, прообразом всех грядущих революций. Несмотря на море слез, крови и развалин, которыми покрыт ее путь, она представляется мне величайшим событием в мировой истории, не менее великим, чем крушение европейской культуры в мировой войне, обратной стороной которого является она. Я уверен, что ее исход будет трагическим, и именно поэтому она кажется мне трагическим событием, борьбой титанов; ее влияние далеко превосходит собой Великую французскую революцию. Как историческое событие, русская революция сама в себе носит зародыши своего крушения. Как явление культурное, она представляет собой вечную ценность".

Последняя аргументация в классовой борьбе,—материальная сила. Теоретические доводы имеют целью или выяснить точку правильного направления этой силы, или ставят задачей ослепление противника настолько, чтобы он не в состоянии был нанести верного удара. Буржуазия Запада совершает огромные усилия, чтобы правильно понять большевизм: как же иначе она боролась бы против противника, теряющегося в тумане неопределенности и неизвестности?

Буржуа не спрашивает, справедлива-ли направленная против него революция, нравственно-ли с ее стороны причинять страдания имущим классам; он спрашивает, в чем сущность революции, и где ее слабые места, чтобы по возможности скорее заменить оружие критики оружием огнестрельным... В данный исторический период для германского буржуа выгодней быть уверенным, что русская революция сама в себе носит зародыши политического самоотрицания, но что она выдохнется только после того, как опустошительной бурей пронесется через страны Антанты. Для доказательства этого тезиса Паке не приводит никаких аргументов: он выражает просто точку зрения классовой надежды германской буржуазии, ненавидящей Антанту и считающей лучшим исходом, если большевизм будет брошен под колеса исторического локомотива Антанты, вызовет его крушение, и сам погибнет.

Однако, есть определенный взгляд на большевизм, который характеризуется автором книги о смысле русской революции, как теория безнадежного пессимизма и такой же безнадежно слепой ненависти. По мнению этих пессимистов „большевизм есть прямая противоположность веры в добро и воли к справедливости. Это просто социальная форма глубочайшего национального отчаяния после поражения в войне, взрыв ставших невыносимыми страданий, причиненных близорукостью правящих классов, проявление преступности, умственного нездоровья и глупости в людях, выразителях идеи разрушения и распада законодательной власти. Ни один человек в России не рад владычеству Ленина и Советов в России. Большевизм, это тяжелая лихорадка, кривая температуры которой неизменно падает, как только Антанта начинает подносить больному по столовой ложке лекарства, в виде продовольствия и сырья для промышленности, но постолько, чтобы больной не мог окончательно выздороветь".

Все это Паке считает абсолютным вздором. По его мнению, большевистская революцая является продуктом приложения к жизни двух идейных моментов: Коммунистического манифеста Маркса и Энгельса и Конституции Советской республики, включая сюда декларацию о правах угнетенных и эксплоатируемых. Он уверен, что такое социалистическое государство может существовать, но оно находится в страшном положении непрерывной борьбы за свое существование против всего капиталистического мира. Оно давно уже приобрело историческое право с честью погибнуть, но живет и развивается. „В сфере экономической и духовной работы в России развертывается мощное движение, деятельное обновление, смелое разрушение изживших себя явлений". Происходит экспериментальное строительство базиса нового государственного строя, насыщенного идеями новой культуры и находящегося в безусловном противоречии со всеми доныне существовавшими формами государства". Недостаток системы Советского государства Паке видит в своем прогнозе, (который, между прочим, с очевидностью опровергнут всем последующим развитием), по которому центральная власть Совета Народных Комиссаров должна неизбежно вступить в противоречие с Советским самоуправлением на местах, а отсюда возникнет разрушительный для Советской власти политический конфликт.

„Несмотря на этот прогноз, можно, однако, утверждать, что начало воплощения в жизни давно питаемых человечеством идей социального освобождения сопровождается исполинским под'емом умственной работы. Если представить себе ясно восходящую линию этого взлета человеческих идеалов в русской революции, то мы увидим, что современная революция означает собой величайший оптимизм, веру в идеал, в доброе и справедливое начало человеческой души. Большевизм—это живая сила оптимизма, ставшая государственной властью. Возникла новая вера в человечность, которая делает легкой смерть для отдельных передовых бойцов революции. Она выражается иногда в массо-

вом энтузиазме народной толпы, как и в праздничном оргиазме молодого революционного искусства".

В высшей степени замечательно, что эти суждения о большевизме возникли из наблюдений, имевших место в течение пяти самых страшных месяцев революции. „В течение пяти месяцев моего пребывания в России происходили такие события, как убийство графа Мирбаха, бунт левых эсеров против Советской власти, покушение на Ленина, красный террор, саботирование брестского договора, борьба против немецких войск, как будто о них воображали, что они собираются продвигаться до самой Финляндии и Астрахани; на Западе бушевала единая непрерывная битва. Я вспоминаю о насильственном смещении генерального немецкого консулата в Петрограде и Москве революционным солдатским советом, набранным из военнопленных и руководимым интернациональными агитаторами. Затем произошла полная катастрофа наших экономических интересов в России, наших притязаний, основанных на старых правах и договорах и наших надежд на немецкое будущее в России, надежд, опирающихся на наши материальные потребности. Нам пришлось отречься от самых заветных, и прекрасных идей нашего германского национализма. Необходимость заставила отказаться от возвращения всех немецких ценностей, еще находящихся в России и от возмещения за убытки мировой войны. Поистине, это были черные дни, пережитые, как страшная катастрофа всеми немцами".

Такая обстановка, такие условия наблюдений ни в коем елучае не предрасполагают к об'ективным выводом. Можно было бы ожидать, что Паке не пожалеет никаких, даже самых грубых и клеветнических приемов для мести врагам своей буржуазной родины.

Тем более замечательно, что Паке сохранил свежесть мысли не только для наблюдений, но и для таких выводов, которые подтверждают старую и основную мысль Маркса: коммунизм есть форма высшего послекапиталистического расцвета производства. Что будет с Европой, если повсеместно Советы возьмут власть в свои руки?—Само собой разумеется, международные сношения невероятно оживятся, когда Константинополь, Салоники, Антверпен, все большие порты, окружающие европейский континент, станут свободными от национально-государственных границ. Товарообмен и культурное взаимодействие народностей приобретут неограниченный простор. Огромные плотные массы человечества получат возможность расселения сообразно своим экономическим потребностям. „Если когда-нибудь Советы рабочих депутатов завоюют право и возможность слить в единый Рейнский областной Совет отдельные городские советы Базеля, Страсбурга, Мангейма, Майнца, Рурской области, Эмдена и Роттердама, они просто на просто устранят все государственные границы, они превратят этот старый водный путь в об'единенный путь с могучими средствами передвижения и осуществят заветную мечту современных инженеров. Все то, что до сих пор оставалось мечтой в умах отдельных предпринимателей и терпело крушение от противодействия частно-капиталистических интересов или от узости государственно-буржуазного эгоизма, только тогда сможет осуществиться. Тогда будет происходить настоящее открытие новых народностей, способных становиться государственными, как это имело место на Балканах, где, однако, союзы крупных капиталистов до сих пор душат всякое развитие золотом, оружием и блокадой, чтобы утвердить господство своих интересов путем подавления прав и экономических возможностей развития и малых и больших национальностей Европы".

Большевизм также мало ценит клеветническую ненависть эмигрантов, как и идеалистический восторг; но тем большее значение приобретает суждение умного буржуазного противника, который вынужден признать, как несомненный, факт единственной возможности экономического возрождения Европы путем организации международной Советской федерации.

Или европейская культура навсегда погибнет, стиснутая с двух сторон свирепой силой капитализма Америки и варварской силой азиатских просторов, или она возродится в форме советского самоуправления. (Здесь нельзя забывать суб'ективную поправку Паке к советской системе в России: он полагает, что федеративный момент советского самоуправления должен победить централизаторскую энергию коммунистической партии).

„Рабочие Советы в их первоначальной форме представляют собой органы пролетарского классового принуждения. Я это хорошо знаю. Правительство Советов рабочих депутатов, постоянно переизбираемых и, таким образом, прочно опирающихся на родную почву предприятия, является формой пролетарской организации победы над мировым капитализмом и установления социализма. Эту мысль можно развить дальше. Повсеместное осуществление таких Советов будет единственной формой, которая соответствует интересам грядущих поколений. Только через их посредство станет возможным создать новую Европу после окончательного укрощения капитализма. Если Европа в течение

долгого времени не будет в состоянии совершенно свободно пользоваться морскими путями к другим материкам, то перед ней открываются сухопутные дороги в глубину исполинского родного тела Азии, к которому она примыкает всего лишь как маленький полуостров. Однако, только Советская Европа, об'единенная в единый континент, с венцом своих прекрасных портов, обладающая единым органом удовлетворения своих потребностей во ввозе продуктов и пользующаяся для этой цели об'единенным аппаратом путей сообщения, железных дорог, пароходств и портов, сможет надолго стать местом жительства человечества, которое хочет остаться на высоте своей культуры".

Мысли, наблюдения, теории, прогнозы, рассеянные в книге Паке, пестры, разнообразны и, большею частью, звучат чуждо для нас, привыкших слышать из-заграницы только отголоски безответственной ненависти, если с нами говорят не рабочие и не коммунисты. Общий вывод такой, несмотря на то, что Россия, руководимая коммунистической партией, причинила неисчислимые бедствия буржуазной Германии, несмотря на то, что она пользовалась приемами беспощадно жестокого классового принуждения по отношению к своей буржуазии, она сказала уже свое слово, как величайшее в истории современной культуры и открывает путь освобождения человечества, раздавленного в мировой войне грубым насилием англо-американского капитализма.

Пока существует идея Советской власти, пока она способна к распространению на всю Европу,—остается открытым вопрос: кто победитель в мировой войне? Так думает Паке, и заключает свою книгу многозначительными словами о том, что если большевизм неправ со своим светлым революционным всечеловеческим оптимизмом, то прав окажется Освальд Шпенглер и его безнадежный мрачный пессимизм.

„Образ Российской революции, образ ее могучей силы и грубого трагизма у всех нас перед глазами. Мы еще не знаем, чем закончится мировая борьба, пожар которой перебросился уже на крышу нашего собственного жилища, в Германию. Погасить его никто не в силах. Однако, мы можем оказать свое воздействие на завершение классовой борьбы, которая перестала развиваться в скрытых формах и раскрылась перед нами, во всей своей полноте Или совершится возрождение общества путем революции, и благодеяния этой революции переживут причиненные ею страдания, или все участники борьбы погибнут в общей гибели западной культуры".

R.

---

**John Cournos, London under the Bolsheviks. A Londoners Dream on Returving from Petrograd. R. L. K. London, Z. A.**

**Джон Курно. Лондон под властью большевиков. Сон лондонского жителя, вернувшегося из Петрограда. Изд. Российского Освободительного Комитета, Лондон, S. a.**

Не лишенный интереса замысел пропагандистской борьбы с большевиками путем демонстрации в наглядных образах возможностей их власти над Лондоном. По исполнению это произведение исчерпывающим образом характеризует идеолигию эмигрантских противников большевизма в их попытках предупредить лондонский пролетариат от пути, избранного пролетариатом петроградским.

Некто вернулся из Петрограда, использовал удобства культурной жизни, а именно, ванну, черезмерно обильный ужин, и выпил пять стаканов портвейна. Разнежившись в теплой постели, он увидел сон, вернее кошмар: власть Советов в Лондоне. Резолюция будто бы происходила в таком порядке Королевская власть и старое правительство были свергнуты. Образовалось временное правительство с Рамзеем Макдональдом во главе. Произошла вторая революция. Макдональд бежал в Шотландию, и у власти стали Мак-Ленин и Троцман. Лорд Грей, Асквит, и Ллойд Джордж арестованы, посажены в крепость и приговорены к смертной казни по обвинению в контр-революции. Их судьбу разделил Уэльс.

Резолюция изложена в истино-русских эмигрантских фантазмах. Почтенные дамы, „всю жизнь занимавшиеся благотворительностью" в награду за это обречены просить милостыню на улицах. Блестящие офицера с несколькими орденами, но без погон, продают на улицах папиросы. Бытовые картинки лондонской революции, изображены в образах, нелепость которых равняется только их неправдоподобности.

„Внезапно раздался треск пулемета. В толпе началось смятение".

— Спрячьтесь,—крикнули мне,—увлекая в ближайший подвал.

Улица внезапно опустела, Показался танк, катящийся полным ходом, паля из своих пулеметов во все стороны. Кто в нем находился, не было видно.

— Что это значит? спросил я своего знакомого.

— Ничего не означает. Вероятно пара „товарищей„ выехали показать себя народу, чтобы все знали, кто хозяин в городе.

Мы снова вышли на улицу.

— Посмотрите—сказал мне спутник,—указывая на танк, вновь показавшийся вдали. На этот раз он полз медленно, зигзагами, все еще стреляя из своих пулеметов.

— Они пьяны,—сказал мне спутник. За последние две недели происходил грабеж винных складов. Они делают, что им нравится, и никто не может их унять, потому что в их руках оружие. Полиция отсутствует. За ночь происходит по пять тысяч грабежей.

После нескольких поучительных повествований о диких уличных расправах, о том, что в ресторанах запрещено пользоваться услугами лакеев, что старые газеты заменились большевистскими, излагается невероятно трогательная история посещения знаменитого английского писателя, пятидесятилетнего старика, об'явленного контр-революционером и голодающего. Этот писатель шепчет на ухо автору секрет: „Пролетарские тираны ненавидят интеллигентов и художников еще больше, чем капиталистов. У богатых людей они могут отнять имущество, и действительно, так и поступили уже. Но они ничего не в состоянии взять для собственного употребления из того неисчерпаемого капитала, который называется человеческим мозгом. Они могут только застрелить меня и так, вероятно, случится, потому что не в состоянии конфисковать мой ум".

В конце концов, и писателя и автора лондонская чрезвычайка забрала в тюрьму, поставила к стенке и расстреляла. Тогда произошло счастливое пробуждение. Внимательно ощупав себя, автор убедился, что большевики не конфисковали его головы за отсутствием в ней достойных внимания капиталов. Буржуазный мир жил в Лондоне попрежнему, и автор поспешил приобщиться к его культуре, то есть, заказал обильный завтрак с вином.

Оставляя в стороне мрачную бездарность этого произведения, нельзя не обрадоваться его классовой откровенности. Эмигранты, проповедующие друг—другу ненависть к большевикам, могут быть уверены в успехе пропаганды. Но для них же лучше, если лондонский рабочий не прочтет этого сна: он сделает из него совсем нежелательные для белых эмигрантов выводы.

**В. Р.**

---

инв. 62590

Издатель—**Главполитпросвет У. С. С. Р.** Редактор—**В. Рожицын.**